

# ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

ЖИЗНЬ – НЕ РАЙ.  
ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ РАЯ  
(СБОРНИК)

Георгий Баженов

**Жизнь – не рай. Жизнь  
лучше рая (сборник)**

«Баженов Георгий Викторович»

2008

ББК 84(2РосРус)6

**Баженов Г. В.**

Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая (сборник) / Г. В. Баженов —  
«Баженов Георгий Викторович», 2008

ISBN 978-5-7117-0063-0

Книга Георгия Баженова «Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая» – это наиболее сокровенные произведения писателя, созданные им за тридцать пять лет работы в литературе. Сокровенные – значит несущие в себе всё самое выстраданное и заповедное, что являют собой душа и сердце писателя. Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ББК 84(2РосРус)6

ISBN 978-5-7117-0063-0

© Баженов Г. В., 2008

© Баженов Георгий Викторович, 2008

## Содержание

Меч между мной и тобой	5
Сёстры	34
Глава 1	34
Глава 2	43
Глава 3	50
Глава 4	56
Конец ознакомительного фрагмента.	58

# Георгий Баженов

## Жизнь – не рай. Жизнь лучше рая. Сокровенное

### Меч между мной и тобой

#### Телефонный роман

*ДРУЗЬЯМ ДЕТСТВА*  
*Владимиру Тельминову,*  
*Виктору Конохову,*  
*Валерию Сомову и*  
*Владимиру Федюшину*

Опять приехал Петр. Третий год он приезжает в Москву, снимает квартиру, два-три месяца живет свободно, водит ее в театры, в кино, в рестораны, никогда не хамит, даже если она бывает у него дома, всегда спокойный, внимательный, выдержанный, так и веет от него порядочностью и честностью. Но ей с ним скучно.

Петр живет в Мурманске. Она знает, что он моряк, но никогда не расспрашивает его о работе; в год их знакомства, когда ей исполнилось семнадцать лет, он, видимо, несколько не рассчитал, много рассказывал о своих плаваниях, и главное, что она уяснила, это его вечная тоска по суше и вечная боль от измены жены: пока он плавал, жена увлеклась его лучшим «другом», которого он с тех пор вычеркнул из своей жизни. Ей было семнадцать лет, и она скучала, слушая про измены, про работу, ни того, ни другого она еще не знала, ей с самого начала показалось скучно разговаривать с ним, верней – скучно слушать его житейски-будничные рассказы, и если она потянулась к нему, то только по одной причине: он был взрослый, на тринадцать лет старше ее, и, несмотря на это, признал ее тоже взрослой, такое с ней случилось впервые. Ребята-ровесники казались ей маленькими, а потому глупыми и грубыми, а может, наоборот – они были глупые и грубые, а потому – маленькие, в общем – с ними ей не было интересно, хотя в общении с ними она и была сама собой – раскованная, веселая, даже нахальная немного, немного хамовитая, немного развязная, но это оттого, что с ними она была как рыба в воде, в своей стихии; другое дело, что они не интересовали ее как мужчины, как представители «мужской половины», к которой ее тянуло давно, тревожно и неудержимо. Но взрослые мужчины еще, как говорится, не вгляделись в нее, к семнадцати годам она, в отличие от своих подруг, была больше девочкой, чем девушкой, и вот случайно в парке познакомилась с Петром, который почувствовал в ней нарождающуюся женственность, был ее первооткрывателем. Он тогда решил про себя: я подожду, буду ждать год, два, сколько угодно, из этой девочки вырастет женщина, которая будет предана мне, я воспитаю ее, она будет только моей, это не то что связываться с женщиной, которая давно идет отравленным житейским путем, которая не ведает ни чистоты, ни святости, а думает лишь о деньгах и тайных утехах, – к черту все. Вот из этой девочки и получится настоящая жена, я подожду.

Он приручил ее к себе. Познакомился с родителями, официально вошел в семью как жених и будущий муж и вот приехал снова, такой уравновешенный, спокойный, порядочный, приехал, чтобы наконец увезти ее с собой в Мурманск – после свадьбы, которая должна состояться через месяц.

А ей было скучно с ним.

И когда он обнимал ее или целовал (теперь это позволялось), она ничего не испытывала, кроме легкого отвращения к самой себе, и руки ее, которые невольно поднимались и ответно обвивали его шею, были безжизненны и вялы. Он не обижался, не тревожился, не корил ее, принимая холодность за неопытность и чистоту, она еще не женщина, думал он, откуда быть страсти, нежности, томности, все впереди, он даже радовался про себя: Господи, в наше время, когда черт знает что творится кругом, – и такая неискушенность, чистота, двадцать лет, а как ребенок, ей-богу, и сколько счастья, должно быть, ожидает их в семейной жизни, когда она проснется, отзовется на его любовь и будет верна ему, потому что с самого начала он не сделал ни одной ошибки, не оскорблял, не унижал, не принуждал ее ни к чему, а в женщине, верил он, долгие годы, если не всю жизнь, живет воспоминание-благодарность или воспоминание-унижение от того, как ей пришлось стать женщиной. В это он верил свято.

И только в одно не мог поверить: что ей с ним скучно. Мужчина, моряк, столько всякого пережил, рассказывает ей подробно, долго, а она вдруг скажет: «Опять об этом. Скучно, Петя». О каком-нибудь трудном плавании он рассказывает так, что самому становится не по себе: и гордость за товарищей, и жалостливое участие к ним переполняют душу, а она опять, в самый неожиданный момент: «Скучно, Петя». Даже если о заграниче начинает говорить, о Дании, Японии, Индии, всего себя наизнанку выворачивает, она остановится, посмотрит на него: «Япония или Индия – ты только о себе рассказываешь, о своей тоске. Неинтересно все это, Петя...» И что больше всего поражало Петра – несоответствие ее образа, который жил в его душе, и этих пустых, взрослых, безразличных глаз, которыми смотрела на него двадцатилетняя девушка. Или он чего-то не понимал в ней?

Она была чиста и непорочна, думал он, отсюда внешняя холодность, просто она не проснулась, она еще спит, слава Богу, именно такая жена и нужна ему: он, только он должен пробудить ее к чувственной женской жизни, и тогда судьба неминуемо наградит их семейным счастьем.

В семнадцать лет она еще училась в школе, а теперь, в двадцать, работала секретарем-машинисткой в райздравотделе. Все это не имело, конечно, никакого значения: через месяц они уедут в Мурманск, Петр будет плавать третьим помощником капитана, она станет домохозяйкой, а если захочет – поступит в медицинский (Петр ей поможет): у нее всегда была мысль, не мечта, а именно мысль – стать врачом, желательно детским, отчасти потому она и работала в райздравотделе – чтобы помогли при поступлении в институт, снабдили всякими справками, характеристиками и рекомендациями (что ей и обещали, конечно). Работала она хорошо, отличалась грамотностью и исполнительностью, не была ни кокетливой, ни развязной с посетителями, скромная, сдержанная, для кого-то даже симпатичная, а в общем – обыкновенная, но приятная на вид, с мягкой нежной улыбкой, с задумчивыми серо-голубыми глазами, с опаленными белесостью легкими пушистыми волосами, которые после мытья сами собой вились, рассыпаясь по спине влажными отяжелевшими волнами.

Казалось, весь облик ее источал мягкость и нежность, и это было гораздо важнее красоты, яркости, броскости – в облике ее читался как бы видимый залог того, что из нее вырастет верная, сердечная жена, не способная ни ко лжи, ни к лицемерию, ни к тайной корысти, ни к умерщвляющему душу эгоизму.

Звали ее Аленой.

В тот вечер Алена лежала у себя в комнате поверх одеяла прямо в платье, то ли скучала, то ли грустила, слушала пластинки, которых у нее было несметное количество, – подарки Петра: нравились ей Элвис Пресли, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд и все остальное в таком же духе: грустное, затаенно-чувственное. Душа ее, когда она слушала Элвиса Пресли, исходила непонятным томлением: кажется, все уже решено, вся жизнь впереди известна и понятна (она выходит замуж), но в то же время...

Зазвонил телефон. Алена, не вставая, лениво протянула руку (уверенная, что это Петр), подняла трубку:

– Аллю?

– Сколько время?

– Что-что? – не поняла Алена.

– Сколько время, тетя?

– Аллю, кто это? – растерялась Алена, не понимая, кому может принадлежать детский голос. И в это же время начала быстро вспоминать, у кого из родственников есть маленькие дети.

– Тетя, ско-о-олько время?

– Не «сколько время», – поправила Алена, – а «который час».

– Ну-у, сколько время, тетень-ка-а?..

Алена взглянула на часы.

– Восемь часов десять минут. Аллю, а кто это?

– Это Алик. Спасибо, тетенька. А вы где, тетя, в телефоне сидите, да?

– Нет, не в телефоне, – улыбнулась Алена. – А кто ты такой, Алик? Чей?

– Я еще маленький. Папа Алексей, а мама Марина у меня, знаете?

– Алексей и Марина... – задумалась Алена. – Нет, не знаю.

В трубке послышалась как бы легкая борьба, детский писк: «Ну, папка... У, папка, плохой какой-то... не буду тебя любить...» – и раздался густой мягкий голос:

– Аллю...

– Да, да!

– Девушка, извините, пожалуйста. Сын балуется телефоном, видно, случайно набрал ваш номер. Без конца «сто» набрать хочет – время узнать, а получается Бог знает что...

– Да ничего, ничего, – поспешила Алена. И почувствовала: ей хочется еще и еще слышать этот голос, было в его звучании что-то приятное, волнующее.

Он замешкался на секунду. А она словно ждала дальнейшего разговора, не клала трубку.

– Вы любите Элвиса Пресли?.. Я слышу, он поет у вас.

– Люблю, – ответила она.

– Похоже, у нас с вами одинаковые вкусы... – Голос его зазвучал несколько игриво (говорить хоть что, лишь бы говорить, лишь бы не оборвалась ниточка разговора). – А знаете что, – вдруг с подъемом предложил он, – давайте познакомимся? Это ведь интересно – познакомиться вот так, по телефону. Как вас зовут?

– Но ведь вы женаты, – сказала она.

– А вы, значит, не замужем? – Чувствовалось, он там улыбается. – Приятная новость.

– Не радуйтесь. Через месяц у меня свадьба.

– Поздравляю! Значит, будем с вами на равных: вы – жена, я – муж.

– С одной лишь разницей: вы – не мой муж, я – не ваша жена.

– Именно поэтому нам и надо познакомиться. Терять ведь нечего, чего тогда бояться?

– Странный вы какой-то... Сидите у себя дома, рядом сын...

– ...и жена рядом. На кухне.

– Вот видите, и жена дома, а вы хотите познакомиться с неизвестной девушкой.

– А вы ведь тоже не против хотя бы поболтать со мной. Если бы не так – вы бы давно бросили трубку.

– Ну, я... Я, может, из любопытства, может, мне делать нечего, я ведь ничем не рискую... Вы не знаете, кто я, где я, и никогда не узнаете. Мне можно и поболтать с вами. А вот у вас рядом сын, жена... Как это вы не боитесь, ей-богу?

– Если ваш муж будет бояться вас, а вы – его, лучше сразу забудьте о свадьбе.

– Ну, не в том смысле, что прямо бояться... Вам же должно быть совестно, что вы при жене заводите такие разговоры...

– А мне не совестно, я ничего плохого не делаю. И скажу вам откровенно, – он стал говорить тише, – скоро сюда войдет жена, и, если вы сейчас не дадите свой телефон, мы навеки расстанемся. А зачем? Какой смысл? Почему бы нам не поболтать иногда? Дружески так, а? Кстати, жена моя уже идет... – Он перешел почти на шепот.

Несколько секунд Алена колебалась, потом, будто перед глубоким нырком, вздохнула и назвала номер телефона.

– Запомните? – спросила насмешливо.

– Склерозом пока не страдаю. А как вас зовут?

– Алена.

– А меня Алексей.

– Я знаю. Ваш сын назвал вас. И вашу жену. Так что если что, буду жаловаться Марине...

Он позвонил ей через несколько дней. Она, честно говоря, уже не ждала его звонка. Если бы он хотел, то позвонил бы сразу на другой день. А сегодня, видно, делать нечего – вот и вспомнил о ее существовании.

Она разговаривала с ним сухим тоном, гораздо суше, чем в первый раз.

Он спросил:

– Вы что, обижаетесь на меня?

– Разве я уже могу, – она подчеркнула «уже», – обижаться на вас?

– Но что-то голос ваш сегодня... Может, вы болеете?

– Нет, я здорова. Просто я думаю, наш разговор никому не нужен – ни вам, ни мне. Давайте на этом закончим все.

– Ах, ах, какой холодный, строгий тон... А между тем сколько вам лет, Алена? Семнадцать? Восемнадцать?

– Какое это имеет значение? Ну, скажем, двадцать. Дальше что?

– В этом возрасте настроение у девушек очень переменчиво. Вчера – одно, завтра – другое...

– Откуда вы знаете?

– Опыт, дорогая девушка.

– А вы, оказывается, грубиян. Я думала, вы совсем другой...

– Извечная ошибка женщин. Сначала они напридумывают о нас Бог знает что, потом разочаровываются. Вы еще в женихе не разочаровались, Алена? Кстати, как его зовут?

– Ну, это вам совсем не обязательно знать. И вообще наши с ним дела никого не касаются.

– Значит, до свидания?

– До свидания...

– Жаль... Я-то думал, вы девушка умная. Во всяком случае – мне показалось так. И я подумал: почему бы не поболтать с умной современной девушкой? Что нам мешает? Оказывается, мешает обычная наша глупость.

– Вы самокритичны. Я себя глупой не считаю.

– Но это же видно и слышно – вы глупая, маленькая, но уже – поверьте – несчастная. Почему? Потому что вы собираетесь замуж, а вовсе этого не хотите – и вот страдаете. Это во-первых. Во-вторых, вы сами не знаете, чего хотите, и от этого страдаете еще больше. В-третьих, вы и разговаривать со мной стали, потому что глубоко в душе у вас спрятана надежда: а вдруг?.. Вдруг что-то случится, что-то изменится, и вы все-все поймете в жизни, и станете по-настоящему счастливой?! Хотите, буду вашим духовным учителем?

– Откуда в вас такая самоуверенность?

– Опыт, дорогая девушка.

- Сколько же вам лет? И прошу вас – не называйте меня «дорогой девушкой».
- Угадайте... Хотя – скажу: двадцать три.
- Ой, рассмешил меня! Двадцать три – и чего-то воображает о себе...
- Имей в виду, я отец семейства. И потом – три года в нашем возрасте – это ой-ей-ей...
- Ты еще только начинаешь входить в круги ада, а я, можно сказать, давно барахтаюсь в них.
- Жалуешься?
- Констатирую факт. – Явственно было слышно, как он усмехается в трубку. Но почему?
- Потому что смеется над ней или просто у него такая привычка – подтрунивать над людьми?
- Странный ты какой-то... – сказала она. – Я сейчас представила тебя... Мне кажется, у тебя ноги нет.
- Чего-о?! – Он залился таким веселым смехом, что Алена невольно улыбнулась. – О Господи! – смеялся он. – У меня ноги нет? Ну, ты даешь!
- А чего ты тогда злой? Когда у человека дефект, он всегда людей подковыривает.
- Если честно, у меня травма души.
- Ну да?!
- Точно. Я стараюсь, чтобы девушке скучно не было, а она говорит: вы инвалид. Ты протаранила мне душу.
- Слушай, ну ты и свистун, а? Как тебя только жена терпит?
- Не терпит, а любит, боготворит.
- Вот бы она послушала, как ты с другими по телефону треплешься.
- А что? Она знает, что я ветреный. У меня, понимаешь ли, ветер в голове. Мне все можно.
- И не стыдно?
- Не-к. Лучше я в открытую буду такой, чем спрячусь, как улитка в ракушке. А то потом начнете выковыривать оттуда палкой.
- Больно ты всем нужен!
- Всем не всем, а кое-кому нужен. Алику, например, – сыну. Жене. Тебе вот нужен.
- Прямо так и разбежалась!
- А что? Я очень даже удобный для тебя. Взять от меня можно много, а взамен – шиш.
- Чего от тебя взять-то?
- А поговорить с человеком – разве мало в наше время? Ну-ка, вспомни, с кем ты можешь поговорить искренне? С женихом можешь?
- Это не твое дело.
- А с родителями?
- Тоже тебя не касается.
- Подруг у тебя нет. Угадал? Остается один Алеша.
- Кто это? Ты, что ли?
- Я.
- Ой, держите меня, я падаю! – рассмеялась Алена. – Я такого хвастуна в жизни не встречала.
- И не встретишь. А хочешь, предреку нашу судьбу?
- Нашу? Не смехи.
- Мы встретимся, потом ты меня бросишь, выйдешь замуж, но всю жизнь будешь вспоминать меня...
- Как бы не так.
- Впрочем, возможны варианты. Например, не ты, а я тебя брошу.
- Еще не виделись, а бросать собирается.
- Замуж не раздумала выходить?
- Так я тебе и рассказала все!

- А чем тебе, собственно, не нравится жених?
- С чего ты взял, что не нравится?
- Нравится? Врешь! – твердо сказал Алексей. – Угадал? Только честно?
- Ничего я тебе не скажу. Ты кто такой, чтобы я тебе докладывала?
- Я? Твой друг и учитель – Алеша.
- Вот что, друг Алеша, я устала.
- Вас понял, перехожу на прием. Когда позвонить в следующий раз?
- Не надо звонить. Ни в следующий, ни в какой другой раз. Ни к чему.
- Тогда обнимаю. Какие у тебя губы – полные, мягкие, тонкие?
- Ого! – невольно усмехнулась Алена. – Ну, положим, мягкие. Дальше что?
- Целую тебя в мягкие губы! – И повесил, нахал, трубку.

Весь следующий день ее томила странная тоска. Казалось бы, все хорошо, Петр приехал за ней на работу, сидел в райздравотделе серьезный, вежливый, лишних вопросов не задавал – не мешал работать: Алена печатала на машинке. Несколько раз выходила из кабинета Нина Васильевна, заведующая отделом, улыбалась Петру: «Не бойтесь, Петр Валентинович, увозить нашу Алену из Москвы? Ведь там кругом моряки, отобьют...» В ответ он тихо улыбался, посматривал на Алену: слышишь, мол, что говорит Нина Васильевна? Разве такое может случиться с нами? Алена только ниже склонялась над машинкой, как будто выискивая в тексте ошибки. Она еще ничего не знала, ни любви, ни измен, но в этот момент ей хотелось изменить Петру. Просто так. Назло. Она сама не понимала, чего ей хочется. Она терпела Петра, потому что мечтала об одном: совершенно изменить свою жизнь. Больше всего ее угнетала жизнь рядом с родителями. Надоели их нотации, наставления. Их страх за нее: с ней обязательно должно что-то случиться – ужасное, непоправимое. Последние три-четыре года это ощущение, как меч, висело над всей их семьей. Отец ненавидел ее друзей, всех этих Стасов, Эдилов, Аликов, Нориков.

Он постоянно ждал от них какой-нибудь пакости. Блат, жаргон, курение, тряпки, прыщи, длинные ноги, сутулые спины, бегающий взгляд... Что за поколение такое? Бывший спортсмен, отец всегда смотрел людям в глаза; в свои пятьдесят пять лет был подтянут, строен, опрятен, не пил, не курил. В мужчинах любил основательность и порядочность. Что ему, кстати, и нравилось в Петре. Кроме того, Петр знал жизнь, многое повидал, через многое прошел, – чем он плох для Алены? У отца была теория: девушка должна выходить замуж как можно раньше, рожать детей, воспитывать их, а не идти в люди, не познавать так называемую жизнь, которая для девушек кончается тем, что они идут по рукам, теряют идеалы, разочаровываются в любви, не рожают детей, плюют на родителей... А мать? Мать всегда, всю жизнь была под пятой у отца. Что отец сказал – закон для семьи. Осторожные движения, грустный взгляд, кроткие глаза – вот что взяла от матери Алена. Внутреннюю тоску тоже, наверное, у нее позаимствовала. Иначе как понять, почему при внешней благополучной жизни Алене так плохо?

После работы Петр повел Алену в театр. Иногда ему удавалось достать билеты на спектакли в хорошие театры – МХАТ, Малый, «Современник», однако больше других он любил театр «Ромэн». Балаганность «Романа» раздражала Алену, дешевые ходы и неприкрытая мелодрама еще больше портили дело, но она уступала Петру. Уступала, потому что любила звучание цыганских голосов, их напевность, щемящую грусть и томность движений. В театр она ходила, чтобы услышать три-четыре песни. Действие ее не интересовало. Совсем другое происходило с Петром. В жизни спокойный, уравновешенный, хладнокровный, он любил в «Романе» горячность, зажигательность, стихию цыганской бродячей жизни, глаза его накалённо горели, ладони начинали заметно потеть (Алена ощущала это – Петр всегда держал ее руки в своих), а ноги в такт музыке произвольно выбивали ритм. Случалось, зрители делали им замечания, и в эти минуты Алена испытывала искренний стыд за Петра.

Но что было делать? Она дала согласие выйти замуж. Потому что жить с родителями – еще большая тоска. Нужно резко изменить жизнь. Раз и навсегда.

К тому же Алена считала себя некрасивой.

И это делало ее очень несчастной.

В театре, когда она взглянула на себя в зеркало, она чуть не расплакалась от досады. Собственные глаза показались ей плоскими и холодными, волосы лоснились, и следа не было от их обычной пышности. Алена перехватила в зеркале взгляд Петра – он откровенно любовался ею.

Неужели вот этот человек – ее будущий муж?

Весь спектакль она сидела, как будто ее окатили холодным душем. Даже страстные, томные песни цыган не задевали ее, как обычно.

– Ты не заболела? – шепотом спросил Петр.

Вместо ответа она помотала головой.

Она смотрела вперед, на сцену, но почти ничего не видела. Хотела она того или нет, но в ушах у нее все время звучал голос Алексея. Думать и вспоминать о нем было совершенно бессмысленно, она понимала это, но ничего не могла поделать с собой: думала, вспоминала, вслушивалась в его голос... Что в нем было особенного? Что вообще хорошего или умного сказал Алексей? Да ничего. Просто он разговаривал с ней свободно, весело, наплевать ему было на какую-то там Алenu, что хочу – то и говорю, и даже, нахал, «поцеловал» ее в губы (она улыбнулась невольно). Почему-то Алене представилось, что целуется он совсем не так, как Петр, не с мнимой осторожностью, а грубовато, по-свойски, запросто. Она покосилась на Петра. Он сразу почувствовал ее взгляд, спросил:

– Что?

– Я выйду, хорошо?

Он наклонился к ней.

– Тебе плохо? Может, выйдем вместе?

– Нет, – прошептала она. – Я одна. На несколько минут.

Он кивнул, выпустил ее руку из своей; она встала и вполупоклон заскользила между рядами.

В фойе Алена подошла к телефону-автомату, набрала домашний номер.

– Да, – густо прозвучал голос отца.

– Папа, это я. Мне никто не звонил?

– А Петр уехал к тебе. На работу.

– Я знаю. Больше никто не звонил?

– Нет. А что случилось? Где Петр?

– Да ничего не случилось. Петр здесь, со мной. Мы в «Романе».

– Ясно. Привет морскому десанту!

– Какому еще десанту?

– Шучу, шучу, Аленка. Петру привет передавай!

Алена повесила трубку.

Странно, что она надеялась, будто Алексей позвонит. Ведь сама сказала – не звони. Ни к чему. А он взял, нахал, и «поцеловал» ее. Ну надо же! Она улыбнулась. Подошла к зеркалу. «Какие у тебя губы – полные, мягкие, тонкие?» Какая наглость, а?! Она смотрела на себя в зеркало и улыбалась. Почувствовала, кто-то пристально наблюдает за ней. Оглянулась. Женщина-контролер – с программками в руке – заискивающе улыбнулась Алене, как будто ее поймали на месте преступления.

– Простите, случилось что-нибудь? Я могу помочь?

– Нет, нет, ничего... – забормотала Алена, быстро поправила волосы и направилась в зал.

Когда села в кресло, Петр взял ее руку в свою, прошептал:

– Все в порядке?

И опять вместо ответа Алена мотнула головой. А о чем тут говорить?

После спектакля зашли поужинать в ресторан. Благо он был рядом, при гостинице «Советская», в здании которой находился и «Ромэн». Денег Петр никогда не жалел. Неизвестно, было ли у него вообще много денег или только во время отпусков, когда он приезжал в Москву, но заказывал он все, что только пожелает душа. Правда, ни сам он, ни Алена не пили ничего крепкого, изредка шампанское, так что без спиртного получалось в общем-то не так дорого. Хорошая рыба, печень, маслины, заливное, свежие овощи, запеченные в сметане грибы, телятина на вертеле, двойной кофе... Сидели, ели, Петр посматривал вокруг горделивым взглядом, говорил:

– В Мурманске свожу тебя в «Ресторан встреч». Он так и называется – «Ресторан встреч». Обычно именно там встречаются после долгой разлуки...

– Мы, кажется, еще не разлучались надолго.

– Просто показать тебе хочу. Чтоб ты знала, где будешь встречать меня, когда я вернусь из очередного рейса. Там, конечно, не так шикарно, но есть и свои прелести.

– Драки, например?

– Не без этого, – улыбнулся Петр. – Какой моряк откажет себе в удовольствии немного подразмяться на суше?

«У Алеши наверняка не бывает таких денег, – подумала Алена. – И в ресторан он не ходит. На какие шиши?»

– Але-о-она, ты где? – улыбаясь, Петр положил свою крепкую ладонь на оголенную до локтя руку Алены.

– Скажи, а индийские женщины похожи на цыганок? – спросила первое, что пришло на ум, Алена.

– Когда впервые оказался в Бомбее, а позже я бывал там десятки раз, индианки показались мне чудом.

– Ого, оказывается, ты засматриваешься на чужих женщин? А в Мурманске, между прочим, тебя ждала жена.

– Во-первых, она не ждала. Она давно спуталась с Колькой. Другое дело, что я, как всякий муж, узнал об этом последним.

«Смотри, какой несчастненький...» – подумала Алена.

– Во-вторых, я не засматривался. Я просто любовался.

– Это не одно и то же?

– Нет, не одно и то же. Любуются – бескорыстно, а засматриваются – с тайной надеждой.

С похотью.

– А у тебя похоти не бывает?

– У меня не бывает. – Он внимательно посмотрел на Алenu. – Я тебя чем-то раздражаю сегодня?

– Ты не ответил на мой вопрос: похожи индийские женщины на цыганок?

– Нет, не похожи. Индианки – это само целомудрие, чистота, нравственное совершенство...

«Ох, ох...» – усмехнулась внутренне Алена.

– А цыганки – это призыв к пороку, открытая страсть, забубенная жизнь, сгорание мотыльков в огне...

– А ты, оказывается, еще и поэт. Как это романтично – моряк и поэт.

– Между прочим, до двадцати трех лет действительно писал стихи. Потом бросил. Поэзии нужно отдаваться целиком. А я штурман – и отдаться поэзии полностью не в силах.

– А любви отдаваться целиком – в силах?

– Алена, один маленький совет: когда у тебя плохое настроение, не нужно его портить другим людям. Может, у тебя неприятности на работе? Нина Васильевна как-то странно смотрела на меня...

– Мне надо выйти. Извини. – И она оставила его одного.

Пока набирала номер телефона, рядом появился молодой человек. Подмигнул Алене. Она отвернулась: «Нигде от них покоя нет...»

– Папа, это я. Мне никто не звонил?

– Нет. А от кого ты ждешь звонка?

– Разве тебя интересуют мои друзья?

– Представь, интересуют.

– Мне должны были позвонить Алик, Эдик, Стас, Норик и Люсьен. Никто не звонил?

– Ты еще и смеешься?

– Почему? – Она и в самом деле улыбнулась. – Кажется, у меня скоро свадьба? Неужели и на свадьбу я не могу пригласить своих друзей?

– Можешь, конечно, – вздохнул отец. – Ты откуда звонишь?

– Мы с Петром ужинаем. В ресторане гостиницы «Советская».

– Ох, балует тебя Петр...

Алена повесила трубку. Молодой человек тут как тут.

– Дэвушка, лишней двушки не найдется?

– Нет.

– А дэсятчик?

– Тоже.

– Между прочим, запомнил ваш телефон. Когда можно позвонить?

Алена внимательно, с ног до головы измерила его взглядом.

– У меня тут в зале жених сидит. Не хочешь познакомиться?

– Слушай, дарагая! П-азнакомь! Вэк за твое здоровье пить будем!..

«Ничем их не прошибешь...» И, невольно покачиваясь на каблуках, царственной походкой отправилась в большой зал. Спиной чувствовала тяжелый взгляд, он буквально жег ее...

Домой поехали на такси. Каждый вечер, где бы они ни были, Петр привозил Алену к родителям. Если было не совсем поздно, некоторое время сидел в гостях, пил чай, разговаривал с отцом. Разговаривать друг с другом они любили. Главное, что их связывало, – серьезное отношение к жизни. Жизнь – сложная вещь, она требует к себе только одного – серьезного подхода. Панибратства жизнь не терпит. Пока они разговаривали в таком духе, мать с Аленой обычно оставляли их вдвоем, уходили поболтать о своем. Впрочем, особой близости между матерью и дочерью не было, потому что мать, в угоду отцу, всякое искреннее признание дочери воспринимала как надвигающуюся катастрофу: Господи, что-то должно обязательно случиться... Алена делала только вид, что она «шепчется» с матерью, признается ей в каких-то «секретах», – робкий и испуганный вид матери раздражал ее: «Неужели я когда-нибудь буду такой? Но почему, почему?!»

На этот раз часы показывали двенадцать часов ночи, и Петр, перебросившись с отцом несколькими фразами, попрощался и поехал к себе. Квартира, которую он снимал, была довольно далеко от центра, у метро «Профсоюзная». Добираться приходилось около часа, поэтому он всегда спешил, если надвигалась ночь. На предложение отца или матери остаться у них Петр всегда решительно отказывался. И еще одна деталь – он редко приглашал к себе в гости Алену. Стеснялся чужой мебели. Всего чужого. Холодного. «Вот когда приедем в Мурманск, тогда...» Он всегда в радужных тонах обрисовывал свою однокомнатную мурманскую квартиру, и главное, почему он гордился ею, – она была собственная, кровная.

Когда Петр уехал, Алена облегченно вздохнула. Очень устала за сегодняшний день. Ложась спать, думала: сейчас провалюсь в сон и – все. Но, странное дело, как только легла, так

сон будто рукой сняло. Вспомнила, как Алеша «поцеловал» ее... Ну надо же! И опять стала улыбаться... Улыбаясь и вспоминая, она в конце концов заснула, а проснулась утром зареванная, в слезах...

Несколько дней прошли в тоске и томлении. Алексей не звонил. Один раз, когда раздался звонок, Алена выбросила из рук трубку, как змею: «Слушай, дэвушка, это я, из ресторана. Помнишь такого?» Звонил он и еще раз: «Значит, нэ хочеш уважить человека? Вай-вай...» Алена снова бросила трубку. Больше, слава Богу, не звонил.

До свадьбы оставалось чуть больше двух недель.

Обговаривали детали. Самое важное: надо заранее заказать банкетный зал в «Праге». На двадцать пять-тридцать человек. Больше – неприлично, балаган какой-то, меньше – тоже нельзя, родственники, друзья, сослуживцы – народу немало набирается...

– Меняются времена, – сказал отец Алены. – Помнишь, Люся, нашу свадьбу, студенческую? Собрались группой в общежитской комнате, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки... А ведь весело было, а?

– Весело, – согласилась мать.

– Нет, не скажите, Григорий Александрович, – возразил Петр. – Свадьба – событие в жизни. Может быть, самое важное. И оно должно остаться в памяти надолго, на многие годы.

– Дело не в самой свадьбе. А в том, насколько крепко завяжется жизнь.

– Это так, – согласился Петр. – Особенно это важно для моряков. Ты плаваешь по полгода и должен быть уверен: дома тебя ждет жена. Жена!

– В Алене я не сомневаюсь, – сказал Григорий Александрович. – Есть, правда, в ней какая-то чертовщинка, но это пройдет. Вон Люся – тоже не сразу такая стала. А теперь как шелковая... – Григорий Александрович потрепал жену по плечу.

Мать кивнула в согласии. Она тоже помнила: когда-то была веселая, все горело в руках, но семейная жизнь сделала свое дело, стала степенная, спокойная, душила только временами непонятная тоска. Да что тоска? Блажь. Нечего на нее и внимания обращать...

Алена сидела у себя в комнате, невольно слушала разговор родителей с Петром. «Что же это? – думала она. – Господи...»

И вот тут наконец раздался звонок, которого она так ждала.

– Привет! – как ни в чем не бывало сказал Алексей.

– Здравствуй, – ответила она, всеми силами стараясь придать своему голосу бесстрастность и спокойствие. А сама в это время улыбалась.

– Как жизнь молодая? Вот решил позвонить – думаю, вдруг захирела моя невеста?

– Не твоя. Чужая.

– Какая разница... Суть-то от этого не меняется? Или ты раздумала выходить замуж?

– Как бы не так.

– Значит, характер у девушки волевой, стойкий. Поздравляю! Между прочим, одно важное событие...

– Неужели у тебя бывают важные события?

– Родился человек! Три килограмма четыреста граммов. Пятьдесят три сантиметра.

Поздравь!

– Поздравляю! Какой по счету?

– Да не у меня. У женщины по имени Лариса.

– Кажется, жену твою зовут Марина?

– Жену – Марина, а сестру – Лариса.

– У такого лоботряса еще и сестра есть? Ну, поздравляю!

– Две сестры. Одна – Лариса, другая – Галя. Угадай, кстати, где Галя живет?

– В Нью-Йорке, где же еще.

– Немного ближе. В Мурманске.

- Ну да? – не поверила Алена.
- А что? Муж у нее – капитан дальнего плавания. А когда он в дальних плаваниях, Галя ждет его на берегу. И рожает детей. Целых трех уже настригла.
- Да, семья! – Сама не зная почему, Алена искренне обрадовалась, что сестра Алексея живет в Мурманске. Как будто там, в далеком далеке, забрезжило что-то хорошее для нее, появилась родная душа...
- Слушай, а кто твой женишок?
- Так я тебе и сказала! – рассмеялась Алена.
- Чего ты смеешься? Чего тут смешного?
- Да так... Ты лучше сам скажи, кто ты такой?
- А тебе интересно?
- Очень.
- Шутишь или врешь?
- Не вру и не шучу.
- Я человек свободной профессии. То есть – слесарь-сантехник. Но заметь – при домоуправлении Министерства иностранных дел.
- Простой-простой слесарь?
- Простой-простой слесарь.
- А по разговору можно подумать – артист или художник.
- Видишь ли, я художник по натуре, артист в душе и слесарь в жизни.
- Глубокий человек.
- Глыбочайший. Потонуть можно. Слушай, а кто ты?
- Нет, о себе я тебе ничего не скажу.
- Такая скрытная? Да я вижу тебя насквозь. Ты маляр с третьего участка. Позавчера утащила у нас полфляги зеленой краски.
- Алена не выдержала, рассмеялась.
- Ох, как там у нас заразительно Алена смеется, – сказал Григорий Александрович Петру.
- Боюсь, скучать она будет по московским друзьям, – ответил серьезно Петр.
- Ничего, время пройдет – дурь выветрится. Ты с ней, главное, построже, построже...
- Женщинам это всегда на пользу идет.
- Хотела тебя спросить, – продолжала смеяться Алена, – ты часто в рестораны ходишь?
- Подбираешься к моему кошельку? – наигранно-грозно воскликнул Алексей. – Так знай же, коварная, я общественный контролер! В рестораны хожу только с обысками.
- А какой ты из себя, а?
- Я? Высокий, стройный, с черными усами. Как Боярский.
- А если честно?
- Маленький, толстый, лысый. Как Евгений Леонов.
- Что тут было смешного? А Алена смеялась безудержно, так ей хорошо было слушать его глупости и шуточные парадоксы.
- Нет, правда, мне хочется представить тебя. Какой ты?
- Меня представить невозможно. Меня нет. Есть только мой голос.
- А как тогда твоя семья? Как она терпит тебя – незримого, невидимого?
- Господи, им еще интересней. Да и выгодней – кормить не надо.
- И ты всегда голодный, бедняжка?
- Вроде сытый, а есть всегда охота. Пойду-ка, кстати, сделаю себе яичницу. Когда тебе позвонить? Ну, воскликни: никогда!
- Она рассмеялась.
- Звони, когда хочешь. Лучше вечером.
- Ты правда замуж выходишь?

– Правда.

– Жаль. – И повесил трубку.

К родителям и Петру Алена вышла из своей комнаты преображенная. Не только глаза, не только лицо, но вся она, казалось, светилась радостью и счастьем.

– Что это с тобой? – удивился Григорий Александрович.

– Ой, я такое платье подвенечное заказала! – ответила Алена первое пришедшее в голову.

И закружилась по комнате.

И даже подлетела к Петру, чмокнула его в щеку.

– Как платье? – удивилась мать. – Мы ведь заказали уже...

– А я еще одно заказала! – кружилась Алена.

– Да зачем?!

Никто ничего не понимал.

– Разве нельзя? – спросила Алена, перестав кружиться и обращаясь только к Петру. – Мне хочется два платья. В первый день – одно, во второй – другое.

– Да можно, можно, конечно... – быстро заговорил Петр. Он подумал: Господи, два платья, да хоть десять, разве жалко?

– Ну, если нельзя, тогда я откажусь. Я позвоню и откажусь.

– Теперь уж ладно, – поморщившись, махнул рукой отец. – Но вообще, Алена, ты принимаешь слишком опрометчивые решения. Причем одна, ни с кем не посоветовавшись. В будущем это может плохо кончиться...

– Ну и ладно! Обойдусь! Да и не нужно мне никакого платья! Подумаешь! Я вообще могу без платья! Пожалуйста!

Алена сделала вид, что обиделась, фыркнула и упорхнула к себе в комнату. Петр и родители переглянулись между собой.

Через некоторое время Петр, постучавшись, зашел к ней в комнату.

– Ты что, обиделась? Ну, хочется два – носи на здоровье. Что ты?

– Я уже отказалась.

– Как? – не понял Петр.

– Позвонила и отказалась: родители и жених против.

– Да мы не против... Мы просто сразу не поняли.

– Что теперь говорить? Поздно.

– Позвони и закажи снова, если хочешь.

– Чтоб меня совсем за дуру посчитали? Нет уж, уволь. И вообще – чего мы сидим дома? Чего ты, как старый пень, расселся с родителями? Все не наговоритесь! Как базарные кумушки, ей-богу...

– Да что с тобой?

– Можешь ты меня на улицу вывести? На воздух? Взял бы и покатал невесту по Москве-реке. Ах, хочется как... с ветерком! Ну, что стоишь?

– Ты правда хочешь кататься?

– Ну а что, я просто так говорю, что ли?

– Пойдем. С удовольствием. – Петр пожал плечами. – Но от платья ты зря отказалась.

– Все! Про платье – забыто. Было и сплыло.

Когда они вышли из комнаты и быстро собрались уходить из дома, родители посматривали на них с недоумением. Что происходит? Они ничего не понимали. Обычно вялая и тусклая, Алена выглядела возбужденной, решительной, резкой.

Уходя, Алена не проронила ни слова; Петр, прощаясь, сказал, как бы извиняясь перед Григорием Александровичем и Людмилой Ивановной:

– Мы погуляем немного... Все хорошо. Не беспокойтесь...

Чем ближе надвигалась свадьба, тем раздраженной становилась Алена. Умом она понимала, что очень скоро станет женой Петра, но осознать этого до конца, принять всем существом не могла, не получалось. То есть она знала: так все и будет, но знание было просто знанием, даже как бы удивлением, что ли, оторопью. По любому поводу Алена вспыхивала, говорила с Петром резко и грубо, со стороны даже слушать было неприятно, особенно переживала мать Алены – Людмила Ивановна, женщина чувствительная и робкая, но Алена в расчет ее не принимала, считалась только с отцом, не столько даже считалась, сколько побаивалась его, поэтому в присутствии отца разговаривала с Петром более-менее сносно. А Петр, мудрый человек, решил про себя одно: пусть Алена переберется, можно в конце концов и понять ее – впереди новая жизнь, туманная и неизведанная, позади – жизнь девичья, безгрешная, бездумная, – наверняка каждая невеста испытывает подобное: радость и страх, томление и отчаяние, восторг и раздражение, любовь и смятение. Разве не так? Так, отвечал себе Петр и поэтому сносил выходки Алены с олимпийским спокойствием, даже с некоторой снисходительностью, чем еще больше раздражал Алену.

– Что ты все усмехаешься? – набрасывалась на него Алена.

– Я не усмехаюсь. Я согласен, – спокойно отвечал Петр.

– С чем согласен?

– С тобой согласен.

– Я говорю – не с кем, а с чем?

– С тобой и с тем, что ты говоришь. Имей в виду: если ты хочешь вывести меня из себя, ничего не получится. Я, бывало, по полгода суши не видел. И ничего, спокоен.

– Ах так?

– Так.

– Ну, поздравляю! Может, ты меня по году не будешь видеть – и тоже будешь спокоен?

– Нет, буду скучать.

– Ха, «буду скучать»! А мне, мне каково будет?!

– Если любишь – будешь ждать.

– Вот именно – если любишь. Разве я люблю тебя?

– Ты пока вообще не знаешь, что такое любовь.

– И что это такое?

– Любовь – это родство. Родство людей. Самые близкие, самые родные – это любимые.

– Мало того, что ты моряк и поэт. Ты еще и философ.

– Думать никому не вредно.

– Пока такие, как ты, думают, от них жены убегают.

– Когда у человека нет ничего святого за душой, он все время куда-то бежит. Постоянство – признак настоящего человека.

– Да в чем постоянство-то?

– Во всем. В любви. В работе. В философии жизни. Даже в месте жительства.

– А сам увозишь меня из Москвы. В Мурманск.

– Там начнется твоя настоящая жизнь. От тебя зависит, где она кончится.

– Да, веселое занятие – думать еще, где кончится моя жизнь! Может, сразу и гроб заказывать?

– Ты не выведешь меня из себя. Даже и не пытайся.

– Такой ты правильный, да?

– Не в этом дело. Я хочу жить человеческой жизнью. Я люблю тебя. И сделаю все, чтобы ты стала счастлива со мной.

– Все это одни слова. Слова, слова...

У нее было ощущение надвигающейся катастрофы. Казалось бы, ну что страшного – выходит замуж? Главное, навсегда освободиться от родительской опеки, которая с каждым

днем, чем больше выросла Алена, становилась для нее непереносимой. Так о чем жалеть? Чего бояться? Ведь не в тюрьму – в замужество уходит, из которого разве нет пути назад?

И как же она обрадовалась, когда на следующий день позвонил Алексей! Ей так хотелось поговорить хоть с кем-нибудь откровенно. Но с кем?

– Ты счастлив, что женат? – спросила она.

– Ого, какие вопросы интересуют нашу невесту, – усмехнулся Алексей. – Брось о счастье думать, детка. Счастье – это миф. Лучше расскажи, как жизнь молодая, что новенького на горизонте?

– Ты можешь быть серьезным?

– Не-к.

– Да ну тебя! Неужели всегда только и треплешься языком?

– Детка, мужчина разговаривает с женщиной только для того, чтобы скрыть свои намерения.

– И ты?

– И я.

– А зачем?

– В этом-то и весь секрет. Секреты, между прочим, просто так не разглашаются.

– Знаешь, мне почему-то хочется взглянуть на твою жену. И на твоего сына. Счастливы они?

– Конечно. Только они не понимают этого.

– Почему?

– Жена, например, пилит меня, что мало денег зарабатываю. Это во-первых. Во-вторых, что не учусь дальше. В-третьих, что у меня безалаберный характер. В-четвертых... Ну, итак далее...

– А сын?

– Сын Алик дуется, что я не купил ему пневматический пистолет.

– Ну, это ерунда...

– Для тебя. А для него, глупца, целая трагедия. Нет, не понимают они своего счастья. Жить. Просто жить. Вот счастье.

– Амебы тоже живут.

– Амебы, детка, не сознают, что живут. А твой лучший друг Алексей – сознает. И он счастлив! Запомни это, Аленка! Ведь ты невеста, скоро будешь вить семейное гнездо...

– Я хочу увидеть тебя.

– Seriously?

– Я хочу понять, какой ты. Ты такой в телефонных разговорах или ты вообще такой?

– Я вообще такой. Ей-богу.

– Я хочу сама убедиться. Какой ты? Мне нужно увидеть тебя.

– Да я же буду приставать к тебе.

– Как это?

– Ну, ты что, маленькая? Я мужчина, ты женщина, встретимся – начну приставать.

– Зачем?

– Как зачем? Закон жизни. Как говорится, зов природы.

– Нет, я так не могу, – сказала Алена.

– И я не могу. Между прочим, скажу тебе откровенно: не люблю я с вашим братом возиться.

– С кем это?

– Ну, ты же невеста. Девушка небось. То да се... Это такая морока – не приведи Господь.

– Ты что, боишься влюбиться в меня?

Алексей от души рассмеялся.

- Влюбиться? Да я просто боюсь тебя!
  - Боишься меня? А сам смеешься, – не поняла Алена. – Странный ты какой-то... Невозможно с тобой разговаривать всерьез.
  - А ты представь себе меч. Представила?
  - Меч? Странно... Ну, представила.
  - И представь, что этот меч между нами. Между мной и тобой. Разве можем мы встретиться?
  - Ничего не поняла...
  - Ты хоть десять-то классов окончила?
  - Я тебе душой кажусь, да?
  - Не душой, а, мягко скажем, непросвещенной.
  - Я хочу увидеть тебя. Мне нужно. Неужели ты не понимаешь?
  - Да ты же невеста. Скажи спасибо, что я, а не кто-нибудь другой оказался на моем месте.
  - Мне нужно поговорить с тобой...
  - Ты что – глупая? Я же сказал: у меня принцип – с девушками я не встречаюсь. Между нами меч, понимаешь! Меч, между прочим, жизни рушит.
  - А если бы я была женщиной?
  - Слушай, ты мне всегда казалась нормальной. Вполне, так сказать. Ты не с приветом случайно?
  - Испугался?
  - Честно скажу: женщин с приветом я остерегаюсь.
  - Господи, глупый... – вздохнула Алена. – Просто плохо мне. Понимаешь? У меня же ни одной родной души на свете...
  - Нет, раньше ты мне определенно больше нравилась... Может, тебя жених наказывает ремнем? Так ты скажи, я с ним разберусь по общественной линии. Как слесарь-сантехник при домоуправлении Министерства иностранных дел.
  - Опять ты за свое...
  - А что? Женихи – народ свирепый. С ними надо ухо держать востро.
  - Ты мне позвонишь? Или я тебя уже насмерть напугала?
  - Насмерть меня напугает только смерть. В крайнем случае – бабушка, вставшая из гроба.
- На худой конец – стая волков...
- Алексей... я хотела тебя спросить... А я не могу тебе позвонить?
  - Э, не-ет, детка, исключено. Я о счастье семейном беспокоюсь. О душевном покое.
  - Пожалуйста, позвони мне. Позвонишь?
  - Позвоню. Конечно. О чем разговор.
  - Опять ты смеешься. Дай слово, что позвонишь. Ну?
  - Даю честное-пречестное слово пионера – позвоню.
  - Ну, хорошо, я тебе верю... Смотри не обмани!

Вечером вместе с Петром Алена поехала в ресторан «Прага» – посмотреть банкетный зал, где будет проходить свадьба. Зал им понравился, самое главное – он понравился Алене. Она никогда раньше не была в «Праге», и его тяжелые старинные залы, красивые резные подсвечники, богатые ворсистые ковры, особый дух торжественности и избранности произвели на Алену впечатление. Что-то ей почудилось от старины, от того времени (которое она знала по книгам и кино), когда нарядные гости поднимались по широким царственным лестницам, залы сверкали от тысячи зажженных свечей, играла тихая торжественная музыка, движения людей были исполнены достоинства, грации и красоты. Отчего-то вдруг почудилось Алене, что все в ее жизни должно быть хорошо; как бы и что бы ни происходило – в конечном итоге все к лучшему, все к счастью. Особенно поразило и обрадовало ее то, что в центре банкетного зала, как будто в Африке или в Индии, росли самые настоящие пальмы, к ним можно было

подойти, потрогать руками, погладить, они были самые настоящие, и это было удивительно – в центре Москвы, на Арбате, в ресторане – чудо природы, южные изнеженные деревья, ну надо же... Алена, стоя у перилец, смотрела во все глаза на пальмы, на их перламутрово-зеленые листья, похожие на огромные веера, не только смотрела, но и улыбалась: вспоминалось детство, – наверное, потому, что тогда много было разговоров про Африку, про обезьян, про пальмы... Как недавно все это было, совсем близко по времени; кажется, протяни руку – и дотянешься до своего платица в детстве, до косички, до белых нарядных гольфов, до самой себя, смешливой и глупой проказницы... Ах, нет, это хорошо наверное, что свадьба будет здесь, в старинном красивом зале, среди пальм, с тяжелыми золочеными подсвечниками по бархатным стенам, с широкими просторными окнами, глядящими в синеву неба, с анфиладами и балконными барельефами наружных террас... Алена с благодарностью взглянула на Петра: все же он молодец, что решил устроить свадьбу именно здесь, он как бы заранее угадал, что Алене должно тут понравиться... Неужели он может угадывать ее прихоти и желания, о которых она сама имеет смутное представление?

В первый раз она подумала о его любви к ней не с раздражением, а с благодарным удивлением и даже некоторой завистью.

– Давай поужинаем здесь? – предложил Петр. – Посидим, осмотримся. Представим, как у нас тут будет все скоро...

– А можно?

– А почему нет? Ресторан открыт, зал работает.

Они сели за столик не рядом с пальмами, а в самом углу, чтобы был побольше угол обзора. Алена чувствовала в себе некоторую взволнованность, что-то неясное, тревожное бродило в ней, и она сама не могла бы сказать, что именно, какие именно это были чувства – радость или напряжение, сумбурное ожидание непонятно чего или просто душевная смута...

– Угости меня, пожалуйста, шампанским, – попросила Алена.

– О, шампанского, сколько только душа пожелает! – обрадовался Петр.

Он видел, что с ней что-то происходит, глаза ее сияли, и хотя сияние это было лихорадочным, а взгляд рассеянным, он радовался этому. Алена словно пробудилась от спячки, и это было так непохоже на нее за последнее время, когда они бывали вместе.

От шампанского она начала тихонько смеяться. Возьмет бокал, посмотрит сквозь него на свет, сотни пузырьков трепетно полыхают в пенящемся огне шампанского, сделает два-три глотка, снова смотрит, а потом начинает смеяться – легко, весело, но со странным надрывом, который нет-нет да и прорвется сквозь смех.

В этот вечер Алена выпила шампанского несколько бокалов. Никогда прежде она не выпивала столько.

– А где ты меня посадишь? Где я буду сидеть? Вон там? – Она показала рукой за перилца площадки, которая несколько возвышалась над залом. Там же, на площадке, росли и пальмы.

– Если хочешь, конечно. Поставим там длинный стол, а потом...

– погоди. Я буду сидеть там, хорошо. Я буду в белом-белом платье. А мне можно заплакать?

– Раньше даже обычай был – невеста всегда плакала.

– Правда? А почему она плакала?

– Ну, прощалась с юностью. С родителями. С матерью. С беззаботной жизнью.

– Вот и я буду прощаться... Я заплачу – ты не обидишься? Не подумаешь, что я дура? Что я маленькая? Все меня считают глупой. Маленькой. И ты.

– Я? Нет. Ты взрослая. И умная. И я люблю тебя.

– Неужели ты в самом деле любишь меня?

– Ты сомневаешься?

– Ах, Петр, Петр... Не пойму я, никак не пойму, что это такое – любовь?.. Только молчи, не говори мне ничего... про родство там, еще про что-нибудь... не надо... Я не понимаю, не понимаю, что такое любовь!

– Поймешь.

– Ты думаешь?

– Уверен. Любовь от одного переливается в другого, от другого – в третьего. И так вечно. Вечная цепь любви.

– Ух ты, Петруша, матрос ты мой, поэт и философ, как ты красиво говоришь! Прямо заслушаться можно.

Он не обращал внимания на иронию и насмешливость тона, она просто оборонялась, хотя сама не знала – от чего. Какая-то преграда ощущалась в ней самой, внутри, которую она не могла преодолеть, и вот наступала на других... Или оборонялась? И то, и другое вместе.

– Может, хватит на сегодня шампанского? – осторожно спросил он.

– Шампанского? Конечно, хватит. Хотя нет. Почему бы нам не погулять сегодня? Ты что? Ты против?

– Я не против. Просто тебе плохо будет.

– А может, я хочу, чтобы мне плохо было? Хотя вру. Ничего мне не хочется. Ты можешь меня покатасть на такси?

– Конечно.

– А почему ты меня редко приглашаешь к себе? Ты меня боишься, да?

Петр удивленно рассмеялся.

– Тебя? Боюсь? Да ты что, глупенькая!.. Просто неуютно там. Голо. Вот приедем в Мурманск, в мою родную однокомнатную... Вот там и заживем...

– Ты что, в самом деле уверен, что в Мурманске нам будет хорошо? А вдруг я задохнусь от тоски?

– От тоски люди задыхаются здесь. А там – никогда.

– Почему это?

– Да там жизнь, понимаешь? Некогда скучать и ныть. Жизнь и работа. Там совсем другое дело.

– Тебя послушать – там прямо рай небесный. На самом деле все так же, как здесь. Я уверена. И жизнь, и люди везде одинаковы. Планета-то одна – Земля.

– Что спорить? Приедем – посмотрим. Ты еще сама будешь смеяться над своей уверенностью.

Когда они сели в такси и помчались по вечерней Москве, Алену быстро укачало, и, склонившись на плечо Петра, она тихо задремала. Петр сидел не шелохнувшись, боясь неосторожным движением потревожить сон Алены. В эти секунды он испытывал к ней ни с чем не сравнимую нежность и готов был сделать для нее все что угодно, лишь бы была нужда в его жертвенности...

– Я хочу к тебе, – сквозь дрему пробормотала Алена, когда машину встряхнуло на одном из поворотов.

– Мы едем ко мне, – успокоил Петр.

И она опять спала на его плече, а он сидел не шевелясь, в неудобной для себя позе, только бы ей было хорошо и покойно.

Когда приехали, Алена первым делом пошла в ванную – ей и в самом деле стало плохо, как и предрекал Петр. Она долго лежала в горячей воде, иногда, правда, вставала, окатывала себя холодным, чуть не ледяным душем, а потом снова ныряла в кипяток – после душа ощущение от горячей воды было именно такое – кипяток. Лежала, полузакрыв глаза, почти дремала, грезилось что-то хорошее, южное, томно-жаркое... У Петра был прекрасный шведский шампунь (вообще нужно сказать, что разных туалетных мыл, шампуней, лосьонов, пахучих одеко-

лонов и всевозможных кремов в ванной было больше чем достаточно), Алена долго, с наслаждением мыла голову шампунем, он пах нежной хвоей, а от него – вот странно – веяло даже прохладой. Алена ныряла с головой в ванну, покрасневшаяся, распаренная, умиротворенная, потом выныривала, весело отфыркивалась, брала в руки изящный по форме – в виде индийского кувшина – флакон, поливала на голову густую искрящуюся зелень шампуня, и вскоре ее тугое розовое тело скрывалось в пенистой изумрудной массе, а потом Алена опять ныряла в ванну, и опять отфыркивалась, и даже иногда смеялась тихим счастливым смехом...

Из ванной она вышла ослабевшая, с горящими розовостью щеками, в повязанной на голове голубой косынке; поверх рубашки надела длинный, до пола, махровый халат Петра – мягкий, удобный; закуталась в него, как в тогу, стояла перед Петром, улыбаясь.

– С легким паром! – сказал он и осторожно приобнял Алену.

– Спасибо.

– А я кофе сварил.

– Ох, лучше бы чаю... – Она в изнеможении опустилась на диван, прикрыла глаза; на лбу у нее и на подбородке поблескивали росинки влаги.

– У меня индийский есть. Сейчас вмиг заварим, – успокоил Петр.

– Не знаю почему, – сказала она, открыв глаза и улыбнувшись Петру, – но я чай люблю больше. Особенно после ванны. Хочется пить долго, много... Никуда не спешить, ни о чем не думать, просто сидеть, пить, наслаждаться...

– Сейчас, сейчас...

Петр вновь заколдовал на кухне над газовой плитой, а Алена, томным движением руки потянувшись к магнитофону, нажала на черную блестящую клавишу. Запел Элвис Пресли. Все пластинки, несметное число которых Петр подарил Алене, были у него переписаны на магнитофон, так что и здесь, у Петра, и там, дома, у Алены, звучала одна и та же музыка, Алене это нравилось, нравилось и Петру, – музыка была тем первым, о чем они заговорили тогда, три года назад, когда познакомились в парке культуры и отдыха.

Слушая музыку, наслаждаясь покоем, теплом и уютom глубокого мягкого дивана (о эти глубокие старинные диваны!), Алена пододвинула к себе телефон, набрала номер.

– Мама, добрый вечер. Ты одна?

– Нет, с папой. А что такое? Ты где?

– Я у Петра. Передай, пожалуйста, папе, сегодня я останусь здесь.

– Да, но...

– Понимаешь, я очень устала. Только что помылась в ванной. Не ехать же домой на ночь глядя. С мокрой головой. По всему городу...

– Конечно, конечно, но...

– У меня все хорошо. Не беспокойтесь.

– Алена, извини, с тобой хочет поговорить папа...

– Ну, что еще?

– Добрый вечер, дочка. Что случилось?

– Ничего не случилось. Мы ездили с Петром в «Прагу», смотрели зал, где будет наша свадьба. Потом заехали к нему. Я очень устала, помылась у Петра. Сiju вот мокрая, в халате, сейчас будем пить чай... Я останусь сегодня здесь.

– Конечно, конечно. О чем разговор. Правильно сделала, что позвонила.

– Ну, до свиданья, да? – спросила Алена.

– Как там Петр? Ты не можешь позвать его к телефону?

– Он занят, готовит на кухне ужин.

– Та-ак... Ну хорошо... Тогда передай Петру: я ему верю, как сыну.

– К чему такой высокий слог?

– Я тебя прошу – передай.

- Хорошо, передам.
- Вообще-то ты могла и домой приехать.
- Распаренная? С мокрой головой? Чтоб простыть и слечь?
- Можно было и дома помыться...
- Папа, в конце концов я выхожу замуж или готовлюсь в монастырь?
- Не груби, не груби отцу. Молода еще! Позови-ка лучше Петра.
- Говорю тебе, он занят.
- Та-ак... Ну что ж. Не забудь передать ему: я верю в него, как в сына.
- Передам. До свиданья!

Через некоторое время из кухни с подносом в руках вышел Петр. Легким парком дымился фарфоровый заварной чайник. На блюдах с золотой каймой две тонкие, почти прозрачные, тоже фарфоровые чашки. Сахарница с витой дужкой. Серебряные ложечки. Тонко порезанный хлеб. Сочащиеся ломтики сервелата. Все изящно, со вкусом.

Поднос Петр поставил на круглый стол, который стоял перед диваном. И стол, и диван, и массивным платяной шкаф, и громоздкий неуклюжий буфет – все, конечно, дисгармонировало с изящной сервировкой подноса, однако в этом была и своя прелесть. Прелесть в смешении вкусов и стилей.

- Кому это ты звонила? – спросил Петр, ставя перед Аленой чашку с блюдцем.
- Родителям. Тебе, кстати, большой привет от них.
- Спасибо.
- Папа велел передать: он верит в тебя, как в сына.
- Еще раз спасибо.

Алена говорила несколько насмешливо, а Петр отвечал вполне серьезно.

- Между прочим, я сказала им, что сегодня остаюсь у тебя.

Петр внимательно посмотрел на Алену.

- Ты хочешь остаться у меня?
- А что, разве нельзя?
- Нет, почему? Конечно, можно, но... Ты ведь никогда раньше не оставалась.
- А сегодня останусь.
- Да, но Григорий Александрович... Людмила Ивановна...
- Григорий Александрович верит тебе, как сыну. Это тебя успокаивает?
- Не пойму: ты шутишь или серьезно?
- Господи, я устала. Я помылась. Я хочу чаю. Ну что еще нужно сделать, чтобы мне

перестали задавать идиотские вопросы?

- Ну, хорошо, хорошо, не злись... Тебе покрепче?
- Да. Самого крепкого.

Когда он разливал чай, она воскликнула:

- Как вкусно пахнет! Какой аромат, Боже!

Петр улыбнулся.

- Знаешь, где я научился заваривать чай? В Индии.
- А-а, в той стране, где ты засматривался на женщин?
- Не засматривался. Любовался.
- Ну, это одно и то же! – Она погрозила ему пальцем. – Ох, Петруша, куда я ныряю, в

какой омут... Смотри!

Отчего-то они оба рассмеялись, хотя ничего смешного, кажется, сказано не было.

Чай пили долго, с удовольствием, смакуя его терпкий вкус; при этом Петр каждый раз добавлял в чашку немного кипяченого молока – вкус чая получался ни с чем не сравнимый; не только вкус, но и запах, и цвет, и аромат – все было необычным, душистым, по-особенному сладостным.

Алена искренне блаженствовала.

– Знаешь, – говорила она, – когда ты будешь приходить из плаваний, ты мне всегда будешь заваривать такой чай.

– Хорошо. Всегда. Обещаю.

– Смотри! – И опять она грозилась пальцем.

Вскоре, несмотря на круто заваренный чай, Алена начала клевать носом. Петру это показалось очень трогательным. Только что смеялась, столько чаю крепкого выпила – и надо же, засыпает прямо за столом.

– Ты пересядь вот сюда, на стул. А я пока на диване постелю...

Она кивнула; с полузакрытыми глазами пересела на стул, при этом толкнула стол, так что чашки едва не скатились на пол; если б Петр их вовремя не поддержал, быть бы фарфору мелкими осколками (изысканную эту посуду Петр всегда возил с собой)...

– Ложись.

Не раздеваясь, в халате, Алена юркнула под одеяло, натянула его до подбородка и, казалось, тотчас уснула.

Петр включил торшер, выключил большой свет и некоторое время просто сидел на стуле, смотрел на Алену, чуть-чуть улыбаясь краешками губ. Потом отнес посуду на кухню, осторожно, чтоб особенно не шуметь водой, помыл ее, разложил в сушилке над мойкой. Не забыл взять тряпку, сходить в комнату и протереть стол. Что еще?

В коридоре, напротив входной двери, хозяева квартиры сделали когда-то небольшую антресоль. Среди многих вещей там хранилась и раскладушка. Умывшись, почистив на ночь зубы, Петр осторожно высвободил раскладушку из антресоли и, стараясь не скрипеть пружинами и не бряцать крючками, начал устанавливать раскладушку. Причем не в комнате, а на кухне.

– Ты что там? – пробормотала Алена.

– Спи, спи... – успокоил ее Петр.

– Ты хочешь на раскладушке? – Она приподнялась на диване.

– Да, да. Спи... – прошептал он, продолжая устраивать себе постель.

– Я так не хочу, – сказала Алена. – Я же приехала к тебе, а ты... Подойди ко мне.

Он какое-то время колебался, потом подошел.

– Сядь рядом, – сказала она.

Он сел. Она протянула к нему руку.

– Знаешь, я ничего не знаю... Я не понимаю ничего... Но почему ты не хочешь со мной?

Наверное, это очень глупо со стороны...

– Но ведь мы еще...

– Если ты не будешь со мной, я тебя возненавижу. Ведь я осталась у тебя... Все решено...

– Алена, скоро свадьба. Зачем нам...

– Вот именно – скоро свадьба. Какая разница... Ведь ты же не сбежишь никуда?

– Ну что ты...

– Ну вот видишь.

– Но твои родители... Они верят мне.

– Как они узнают?

– Я так не могу. Ты потом поймешь все.

– В конце концов это просто оскорбительно...

– Глупая. Наоборот.

– Тогда я сейчас уеду. Да, да! Вызови мне такси. Я уеду!

– Ну к чему эти глупости...

– Да пойми ты! Я ничего не знаю в этих вещах... Но просто-то ты можешь побыть со мной? Мне страшно.

– Просто у нас не получится.

– Ты холодный, безжалостный индюк! Хоть бы пожалел меня. Сидишь тут... Мне страшно! Я что, не такая какая-нибудь?

– Ты лучше всех!

– Ты просто успокаиваешь меня.

– Зачем? Я люблю тебя! Ты самая лучшая. Самая любимая...

...Потом, когда она уснула, Петр долго лежал рядом, не в силах побороть в себе страшную тоску, которая неожиданно-негаданно навалилась на него. Пять лет назад бросивший курить, он ощутил непереносимое жжение в груди, изнуряющую сухость во рту – так сильно хотелось закурить, какого-нибудь самосада бы сейчас, крепче, хотя бы одну затяжку... Он не понимал, что с ним такое. А тоска давила и давила сердце, она была сродни ощущению, когда редко-редко, но все-таки наваливалась бездонная мысль: вот умру когда-нибудь – и меня никогда, никогда, никогда не будет... И когда мысль хотела пробраться в это «никогда», постичь его, охватить разом, вот тогда и обливалась душа сильнейшей, ни с чем не сравнимой тоской – дыхание схватывало... И вот сейчас опять... Но почему же сейчас?.. Он лежал, боясь сделать малейшее движение, чтобы не разбудить Алену, и в то же время все существо его было за тысячи миль отсюда, душа и мысли улетали далеко, и даль эта устрашала, напоминала бездну, в которую придется-таки провалиться, но как же так... почему... за что... и неужели никогда больше?.. Никогда!

Он ничего не понимал в себе.

И когда стало совсем невмоготу, он не встал, а как бы скатился с дивана, сделав полный оборот, спружинил на руках на коврик, который лежал у дивана, и, не просто боясь, а страшась, как бы Алена в самом деле не проснулась, тихотихо подкрался к стулу, где лежала его одежда, натянул брюки, майку, рубашку, а потом на цыпочках, босой прокрался на кухню. Там, в шкафу, в дальнем углу, среди прочих иностранных сигарет, он хранил на всякий случай обыкновенную пачку «Примы», которую не просто курил когда-то, а обожеествлял. За крепость. За простоту. За то, что пробирала до самых печенок: уж жгла нутро, так жгла – без дураков.

Подержал пачку в руках. Распечатал. Достал сигарету. Сунул в рот. Ну что? Ну и черт с ним! Чиркнул спичкой...

И как только сделал первую затяжку, так сразу сделалось легче. Будто ком какой-то проскочил внутри.

Он прикрыл кухонную дверь и, с жадностью, глубоко затягиваясь, начал ходить по кухне из угла в угол. Если бы он мог увидеть себя со стороны, то заметил бы, как играли на его лице желваки. Такое происходило с ним всегда, когда он не мог понять себя, собственное состояние, – тоска и злость. Чего только не бывает с человеком, но самое странное – что очень часто он сам не в силах объяснить собственное состояние...

Ну, что с ним?

Петр скомкал сигарету, выбросил в ведро, закурил новую.

Такое же состояние, помнится, охватило его однажды на танкере. Вышли из Бомбея в открытые воды – сначала в Аравийское море, затем в Индийский океан... Тогда Петр очнулся среди ночи в каюте со странной тоской в груди, тоска давила, душила, даже дышалось трудно. До утренней вахты оставалось часа четыре, но Петр не мог больше спать, вышел из каюты в надежде сбросить с себя наваждение. Ночная гладь океана была устрашающая; горячие крупные звезды, перевернутый, опрокинутый ковш Большой Медведицы, ни шороха, ни всплеска на много миль вокруг, пустыньность, кромешная тьма и дыхание бездонного, безграничного океана. Петру стало страшно, хотя он мало чего боялся в жизни, во всяком случае моря не боялся никогда.

Ему стало страшно не чего-то, а вообще страшно – почувствовал себя маленькой, затерянной песчинкой в безмерном море, в кромешной тьме, в бесконечности времени и простран-

ства. Он вернулся в каюту, закрыл дверь на запор, хотя закрываться на танкере обычно не принято, – мало ли что может с каждым случиться, – закурил, как всегда, крепкую «Приму» и начал метаться по каюте, из угла в угол. Обостренным чутьем он как бы улавливал в воздухе какую-то тревожность, даже трагичность, которая в эти минуты совершается в жизни – в его личной жизни, а не в жизни всеобщей, тоска не на шутку гнула его, корежила душу, но понять или осознать нельзя было ничего.

От тоски этой он в ту ночь чуть с ума не сошел.

И только позже, когда пришвартовались в родном Мурманске, он кое-что понял в своих муках.

В ту ночь, когда душила его тоска, – он высчитал это, – именно в ту ночь ушла от него жена. Она не просто ушла, а ушла к лучшему его другу – Коляне. И его, и ее он навсегда выжиг из своей жизни, но что от этого изменилось? Предательство осталось предательством.

Неужели есть сила в мире, какая-то стихия в пространстве, которая пронзила огромное расстояние, втекла в жилы Петра, встряхнула его, навалилась тоской, подняла с кровати, заставила бродить по ночной палубе танкера, курить сигарету за сигаретой?!

Что это было такое? Что подняло его тогда, что толкнуло в те минуты в каюте?

Вот и теперь Петр мерил шагами кухню, дымил «Примой», играл желваками, и душила его похожая тоска. Но как же так? Откуда сейчас-то эта тоска? Отчего? Ну, тогда – ладно, было предательство, предали, растоптали, в самое сердце ударили, а теперь-то? Теперь-то в чем дело?

Петр ничего не понимал.

Может быть, сегодня, сейчас не кто-то иной, а он сам совершил предательство? Но какое? Алена его невеста, совсем скоро станет женой, он знал твердо – никогда не бросит ее, тем более теперь, когда она так наивно, хотя и достаточно настойчиво (он слегка улыбнулся) доверилась ему (вот странно-то!), – да разве он посмеет после этого сделать что-нибудь плохое по отношению к Алене?! Да никогда в жизни!

И тем не менее – тоска.

Такая тоска...

И что-то не то... Не то...

Он пытался разобраться в себе, определить первопричину, докопаться до сути... Ну да, конечно, была, была в нем мечта – заветная мечта! – хоть для одного человека в жизни оказаться святым! Он думал – всё и все погрязли в грехе, жизнь заполнена ложью, предательством, лицемерием, и ему хотелось хотя бы раз, хотя бы однажды в жизни оказаться для другого человека непорочным, чистым. Была у него жена, были женщины, но на Алenu – за все три года знакомства – он никогда не посягал, не приставал к ней, если уж говорить на языке мужчин. И не потому, что она не нравилась ему, не потому, что не было желания, – и нравилась, и желание было, – но просто хотел хоть одного человека ни в чем не разочаровывать и ни в чем не разубеждать. Пусть она знает, что есть на белом свете и такие мужчины, как Петр, – честные и бескорыстные, есть правда, есть любовь, нежность, забота, многотерпение, и тогда наверняка она ответит ему тем же; воспитание – не в словах, а в поступках, в действии, и он знал, что пока не совершил ни одного неправильного шага по отношению к Алене, – разве это не зачтется ему? Не зачтется в будущей семейной жизни? Разве счастье – это не плод двоих? Разве это не усилие? Разве не кропотливая работа души?

Но откуда же тогда сегодняшняя тоска?

Отчего?

Ведь она такая же, точно такая, как тогда, на танкере... кремешная ночь, горячие звезды, устрашающее молчание океана... Какая была тогда тоска!

Неужто и сегодня свершилось какое-нибудь предательство?

Через два дня позвонил Алексей.

– Я уж думала, вдруг не позвонишь... – с некоторым упреком в голосе попеняла Алена. – Неужто ты такой занятый, что даже пять минут не можешь для меня выделить?

– Для тебя нужна вся жизнь. А что такое пять минут?

– Ой, не болтай! Знаю я тебя... Все-таки, ей-богу, ты не похож по разговору на простого сантехника из домоуправления.

– Сантехник – это для отвода глаз. Я же говорил тебе: по натуре я художник, в душе – артист, а в жизни – слесарь. Всего-навсего.

– Если бы ты знал, как мне хочется взглянуть на тебя. Хотя бы краешком глаза.

– Я же тебе говорил – приставать буду.

– Ну и что?

– Как что? – удивился Алексей. – Я знаешь какой горячий мужик? Меня можно в печь вместо дров класть – моментально вспыхиваю.

– Ой, испугал!..

– И вообще запомни – у нас с тобой роман телефонный. Я на тебе остроумие оттачиваю. Ум упражняю...

– Значит, я для тебя что-то вроде подопытного кролика?

– Что-то вроде.

– Да, вежливостью ты не отличаешься.

– Какой есть.

– Ну скажи хотя бы, выходить мне замуж?

– Выходить. Обязательно. Лично тебе – пора. А то ты вон как на незнакомых мужиков бросаешься.

– А зачем выходить?

– Станешь женщиной – поймешь.

– Ой, женщиной! Ну и что в этом хорошего? Я уже женщина – дальше что?

– Врешь ведь?

– Не-к. Если хочешь знать, я и женщиной-то стала из-за тебя.

– Ну, ты мне эти дела не шей, – строго, но шутливым тоном проговорил Алексей.

– Я серьезно.

– Слушай, ты потом и рожать станешь. Опять я виноват буду?

– Ты.

– Да ты что?! Ты эти фокусы брось, детка!

– А помнишь, ты мне говорил – у тебя принцип.

– У меня много принципов. О каком именно речь?

– Ты сказал: у меня принцип – с девушками не встречаться.

– Да, есть такой принцип.

– Ну вот. Я и решила: все равно скоро свадьба, бояться нечего. Я ночевала у жениха.

– Поздравляю. Но что из этого?

– Как что, глупый? Теперь ты можешь со мной встретиться.

– В каком смысле?

– В любом. Теперь ты можешь не бояться меня.

– Я тебя и так никогда не боялся.

– А ты говорил – боишься. Твои слова: «Не люблю я с вашим братом возиться. Это такая морока – не приведи Господь»?

– Слушай, ты как прокурор... Твои слова, ваши слова, наши слова... Ты их на магнитофон, что ли, записываешь?

– Да ты пойми, мне ничего не нужно от тебя. Просто хочу увидеть тебя. Посмотреть, какой ты.

– Нет, ты определенно с приветом. Я этого не учел. Да какой я? Как все. Как тысячи других.

– Нет, ты не такой. Я по голосу слышу. По словам угадываю. Ты ни на кого не похож. Ты необыкновенный!

– Тебя определенно заносит. Девочка, ты вбила себе в голову Бог знает что...

– Да чего ты боишься? Я невеста, скоро выйду замуж. Я из-за тебя вон на что решилась, а ты...

– Слушай, ваши дела – это ваши дела.

– Да уж, конечно. Я из-за тебя у жениха осталась, а ты сразу в кусты.

– Нет, абсурд какой-то!

– Я знаешь что поняла: все равно ему изменять буду. Уж тогда лучше сразу.

– Сколько тебе лет? Извини, забыл.

– Двадцать.

– И в двадцать лет такая философия?

– Да нет у меня никакой философии. Просто я не люблю его. Жениха своего.

– Ого, вот это что-то новенькое. Не любишь – а замуж выходишь. Зачем?

– Чтоб от родителей уехать подальше. Нотации их надоели, нравоучения. Все хочу поменять! Всю жизнь разом!

– Жених-то знает, что ты его не любишь?

– Для него главное – чтоб он любил. Он, знаешь, не от мира сего. Святой. Но мне с ним скучно. Ску-у-учно! Понимаешь?

– Да, в хорошенькие санки ты впрягаешься.

– А я решила так: не понравится – разведусь. Сейчас все так делают. Жизнь изменить никогда не поздно.

– Тут ты ошибаешься. Изменить ее никогда нельзя. Она неизменяема. Сделал что-то – все, проехали. Вернуться вспять нельзя. Отрезано. Жизнь – это драма единственных поступков, на века.

– Алеша, глупый... Как ты не поймешь – я хочу увидеть тебя. Я о-оче-ень хочу увидеть тебя.

– Как ты себе это представляешь? Ну, нашу встречу?

– Да как... Просто увидеться – и все.

– Ну, где – на улице, в метро, на вокзале, у памятника, под часами? Я, знаешь, что-то отвык последнее время по подворотням прятаться...

– Алеша, у меня есть идея.

– Так, померкни солнце, замри пространство!

– Мы можем встретиться у моего жениха.

– О Боже! Сколько раундов меня ожидает? Семнадцать? По три минуты каждый? Или, может, по пять?

– Каких раундов?

– Ну, он же бить меня будет. Твой жених. Учить жизни. Семнадцать раундов по три минуты – почти час сплошных ударов молотом. Кстати, я слесарь, а не профессиональный боксер.

– Но его же там не будет. Ты что?!

– Спасибо. Ты заблаговременно отравишь его ядом гюрзы.

– Зачем? Я просто скажу ему, чтоб он приехал сюда.

– Куда?

– К родителям. А сама поеду к нему. У меня есть ключи от его квартиры.

– Все, вербую тебя в свою систему. Из тебя выйдет отличный агент. Кстати, если жених неожиданно вернется, куда ты меня прятать будешь?

– Да он никогда не вернется. Если я ему скажу: жди меня дома – он будет ждать, что бы ни случилось. Он верит мне, понимаешь?

– И тебе не жаль его? Не жаль разрушать его веру?

– А что я такого делаю?

– Ну, конечно, в наше время обманывать мужчину – это просто хороший тон.

– Да ни в чем я его не обманываю. Просто встречусь – и все.

– И не боишься, что я буду приставать?

– Не боюсь. Чего мне теперь бояться?

– Да я же страшный как тигр. У меня вместо рук – когтистые лапы, а сзади хвост. Три метра длиной...

– Опять ты за свое. Я с тобой серьезно...

– Слушай, а ты не можешь устроить так, чтобы я сначала с женихом познакомился? А потом уж с тобой?

– Зачем он тебе? Чудак, право.

– Он мне нравится.

– Ой, не смей!

– Честное слово. Я хочу дружить с ним. Я хочу быть ему самым верным другом. Псом собачьим. Я буду служить ему, так он мне нравится.

– А хочешь, я тебя на свадьбу приглашу?

– Инкогнито или в качестве почетного гостя?

– Да как хочешь.

– Видишь ли, если я стану другом твоего жениха, то тебе несдобровать. А если стану твоим другом – несдобровать ему.

– Это нечестно. Ты мой друг. Это я с тобой познакомилась, а не он.

– Ах, до чего же это милая штука – телефон. Хоть бы нашелся какой-нибудь поэт – пропел ему оду! Каких только тайн не слышали телефонные уши! Чего только не вынесли они со времени своего создания!

– Алеша, ну хватит языком трепаться... Ну правда...

– Ась?

– Встречаемся мы или нет?

– Будь Гамлет жив, он бы ответил: на этом свете – не ведаю, а уж на том – встретимся всенепременно.

– Давай послезавтра. Тебя устраивает?

– погоди, птичка, не спеши. Дай подумать...

– Завтра я сама не могу. Мы едем с женихом кое-какие покупки делать. А послезавтра с обеда я свободна. На работе меня отпустят, не беспокойся...

– А если ты разочаруешься во мне? Ты меня бить будешь? – Алексей усмехнулся. – Бить гантелями жениха?

– Да нет у него никаких гантелей. У него все барахло в Мурманске.

– Где? В Мурманске? Да там же моя сестра живет!

– Знаю. Галя. Которая рождает детей. И ждет мужа-моряка на берегу.

– О, ты опасный человек, Алена! Тебя надо остерегаться. Ты все знаешь, все помнишь.

Нет, определенно тебе надо работать в агентуре.

– Значит, так. Послезавтра во время обеда ты звонишь мне на работу. Договорились? Ключи у меня будут в кармане. Об остальном я позабочусь сама. Да, запиши мой рабочий телефон. Диктую...

– Записал.

– Ну что, пока тогда?

– Пока.

- И, уже почти положив трубку, Алена на всякий случай прокричала:
- Так позвонишь? Точно?
  - Позвоню.
  - Ой, Алеша, смотри! Не позвонишь – я в людей перестану верить.
  - Зачем такие глубоко идущие выводы?
  - Ты меня целуешь?
  - Целую.
  - То-то же! – Она рассмеялась и с легким сердцем положила трубку на рычаг.

С Петром происходило что-то непонятное, он помрачнел, посерьезнел, при разговоре отводил глаза в сторону: тайная тоска точила его. Первой заметила это Людмила Ивановна, мать Алены, и не просто заметила, а как бы подвинулась душой к Петру, всегда испытывая к нему внутреннюю симпатию. Самое себя, истинную и правдивую, она часто прятала в тайниках души, давно поняв, что с таким мужем, как Георгий Александрович, невозможно жить в открытую. Чем больше откроешься ему, тем больше будет подавлять тебя. Мужу важно, чтобы человек, который живет рядом, мерил жизнь теми же мерками, что и он; в этом он видел назначение мужчины, мужа, главы семьи. Твердые, жесткие люди – они живут для себя. Для них не существует чужих правил. Мягкие люди (вроде Петра) – те дают жить другим. Мягкие люди (вроде самой Людмилы Ивановны) позволяют другим людям не только жить, но и садиться себе на шею. Вот в чем чувствовала Людмила Ивановна тайное родство с Петром. Вот отчего замечала перемены в его внутреннем состоянии. Вот почему он был ей дорог.

- А вы знаете, как я выходила замуж? – спросила Людмила Ивановна Петра.

В квартире они были одни, Григорий Александрович последние дни пропал в спорткомитете (скоро соревнования, а он работал тренером по тяжелой атлетике), а Алена, естественно, была на работе в райздравотделе. После работы она велела Петру ждать ее дома, у родителей.

Петр вопросительно взглянул на Людмилу Ивановну.

- Совсем не так выходила, как однажды рассказывал Григорий Александрович. Помните?

Петр не очень хорошо помнил, но кивнул.

– Он как-то рассказывал: мол, собрались в студенческом общежитии, стрельнули шампанским, дешевая закуска, танцы под пластинки...

- Да, да, помню... – Петр и в самом деле вспомнил рассказ Григория Александровича.

– Дело-то все в том, что... только, Петр, дайте слово, что никому не расскажете о нашем разговоре.

- Да, конечно, конечно, Людмила Ивановна. О чем речь...

Людмила Ивановна рассказывать не торопилась. Накрыла на стол, заварила свежий чай, поставила домашний кекс.

- Кушайте, Петр.

- Спасибо.

Людмила Ивановна и сама села за стол; лицо ее вдруг показалось Петру обновленным: схлынула вечная усталость, озабоченность, померкшие обычно глаза налились светом, в котором проскальзывали искринки неожиданного озорства.

- А не хотите по рюмочке, Петр? Кагора. Слабенького дамского напитка.

– По рюмочке можно. – Петру и самому сделалось легче, свободней рядом с Людмилой Ивановной – впервые он видел ее такой раскованной, естественной. Он даже улыбнулся.

- Та-ак, погуляем сегодня. Сегодня такой день, сегодня можно...

- А что за день? – снова улыбнулся Петр.

- Ох, не спешите, Петр. Все по порядку...

К чаю Людмила Ивановна налила по рюмке кагора, они чокнулись.

– Ну, Петруша, поздравьте меня!

– Поздравляю... Только что у вас за праздник? Ей-богу, не пойму.

– Праздник? Молодость вспомнила, молодые годы, Петруша.

– А, ну, поздравляю вас, Людмила Ивановна!

Когда начали пить чай, Людмила Ивановна, несколько захмелевшая то ли от кагора, то ли от воспоминаний, с улыбкой призналась:

– Не просто молодость вспомнила я... Ведь день свадьбы у нас сегодня. С Григорием-то Александровичем.

– Как день свадьбы?! Простите, Людмила Ивановна, не знал.

– Не надо просить прощения, – мягко улыбнулась она. – Дело-то все в том, что мы никогда не отмечаем этот день.

– Почему? – удивился Петр.

– Да как вам сказать... – Людмила Ивановна задумалась на некоторое время. – Свадьба-то и радостью была, и горем, что ли... Ну, если не горем, так что-то вроде этого...

Петр не перебивал, слушал.

– Только, Петруша, вы дали слово: никому ничего... Особенно Алене. И особенно – Григорию Александровичу.

– Ну, конечно, конечно...

– Дело-то все в том, что в тот день я должна была выходить замуж не за Григория Александровича...

– А за кого же, простите?

– А за ученика Григория Александровича. Ивана Кошкина.

Петр ничего не понимал, но молчал, слушал. Удивила его только эта фамилия – Кошкин. Ведь и у Григория Александровича, и у Людмилы Ивановны, и у Алены была та же фамилия – Кошкины.

– Да, да, – кивнула на его догадку Людмила Ивановна, – он был однофамильцем. Причем любимчиком у Григория Александровича. Григорий-то Александрович, он не студент тогда был, он на десять лет старше меня, работал тренером в нашем институте (я ведь тоже Институт физкультуры окончила, легкой атлетикой занималась). А получилось как... Оpozдал Иван на регистрацию. Банальная ситуация: на тридцать минут опоздал. И этого Григорию Александровичу вполне хватило.

– Как это?

– Он был свидетелем у нас. Ну как же, любимый тренер, любимые ученики. Я знала, он любил меня. А я... Мне они оба нравились – и Ваня, и Григорий Александрович. Но Ваня – молодой, сами понимаете, ровня. А Григорий Александрович – преподаватель, взрослый мужчина. Я его просто-напросто боялась...

– Ну и? – Отчего-то все в Петре напряглось от этого рассказа, замерло в душе.

– Ну, Григорий Александрович взял меня крепко вот так за руку, – она показала, как именно он взял – за запястье, – смотрит в глаза, мне даже страшно стало, и говорит так, что я чуть в обморок не падаю: «Люся, – говорит, – последний шанс у нас. Со мной ты будешь счастлива, с ним – нет. Он не боец. Он сойдет с помоста. Победителей не судят. Ну?!» И как закричит на меня! Я как во сне. Кивнула. Ивана нет. Когда Иван приехал, было уже поздно. Я расписалась с Кошкиным – только с другим, с Григорием Александровичем. Какая уж там свадьба после этого? Какое шампанское? Все отвернулись от нас...

И тонкая жгучая игла вонзилась в сердце Петра. Он ничего не говорил. Он слушал. Он во все глаза смотрел на Людмилу Ивановну и не мог поверить: да неужели? Не может быть... А Людмила Ивановна продолжала дальше:

– Всю жизнь потом Григорий Александрович боялся потерять меня. Он запер меня в клетке, отгородил от друзей. Запретил заниматься спортом. Только семья. Только дочь... И

постепенно я превратилась в то самое, что вы видите перед собой. В женщину, о которой и подумать нельзя, что в молодости у нее были такие страсти... – Людмила Ивановна горько усмехнулась.

А Петр продолжал во все глаза смотреть на нее. Неужели опять? Неужели и здесь? Да что же это?!

– Не знаю, почему я вам рассказала все это сегодня... Впрочем, нет, знаю. – Она с грустью и с пониманием внимательно посмотрела Петру в глаза. – Дело в том, что я не хотела бы, чтобы в моей дочери, в Алене, повторилась моя жизнь. Конечно, вы совсем другой человек, не такой, как Григорий Александрович, вы мягкий, добрый, отзывчивый, но ради Бога, Петр, умоляю вас – никогда не притесняйте жену. Не запирайте ее в клетку. Не душите в ней живое, естественное, натуру. Жизнь в ней не душите, жизнь! Не надо...

Петр согласно кивнул, хотя мысли его шли совсем не в русле слов Людмилы Ивановны; на него снизошла как бы оторопь, недоумение: да что это, почему опять, зачем?!

– Я прожила немалую жизнь и должна признаться: жизни с Григорием Александровичем я не видела. Он подавил меня. Уничтожил. Растоптал во мне самостоятельность...

В это время раздался телефонный звонок, и, продолжая договаривать свою мысль – «... свободного человека» – Людмила Ивановна спросила:

– Да?

– Мам, это я. Привет. Петр у нас?

– Да. Мы сидим с ним чай пьем. Разговариваем.

– Передай ему, чтобы ждал меня и никуда не уходил. Что бы ни случилось – ждал и никуда не уходил.

– Хорошо, хорошо.

– Ну, пока! – Алена без всяких объяснений положила трубку.

Во время обеденного перерыва Алексей не позвонил. Не позвонил и через час. И через два часа. Выходит, Алена зря отпрашивалась у заведующей: ключ от квартиры Петра лежал в ее сумочке мертвым грузом.

– Что же ты не уходишь, Леночка? – поинтересовалась Нина Васильевна, взглянув на нее с некоторой насмешливостью, которую с трудом переносила Алена.

– Решила закончить срочное, а потом пойду, Нина Васильевна, – ответила Алена.

– Ну, ну, хорошо... – И заведующая вновь улыбнулась как бы ласково, но со скрытой усмешкой. И чего ей надо?

Наконец Алексей все-таки позвонил. Часа через три.

– Господи, я уж думала, ты провалился сквозь землю! – обрадованно затараторила Алена. Она так искренне обрадовалась звонку, что даже укорять Алексея была не в силах.

– Видишь ли, – сказал он, – раньше никак не мог. Дела.

– Ну, хорошо, хорошо. У меня все готово. Ключ в кармане. Где встречаемся?

– Тут такие дела, птичка. Сегодня я никак не могу. Уезжаю в командировку.

– Как так?! – с недоумением вырвалось у Алены.

– И вообще, понимаешь ли... я переезжаю. В другой город. Насовсем.

– Ой, не ври! Ты что? Так я тебе и поверила!

– Seriously.

– Да врешь ты все!

– Ну, хорошо. Допустим, вру. Допустим, не уезжаю. Остаюсь здесь. Но в командировку-то я уезжаю точно.

– Но почему так срочно? Ты же говорил... Ты же обещал...

– Ничего я не обещал. И вообще, птичка, пора заканчивать наш телефонный роман. Побаловались – и хватит. Я устал...

– Но как же? Ведь я...

- Очень просто. Скажем друг другу: «Адыю» – и повесим трубки.
- Но я люблю тебя.
- Не говори глупости.
- Я не могу жить без тебя. Послушай, я люблю тебя...
- Да ты просто сумасшедшая.
- Я люблю тебя. Я не могу без твоего голоса. Без твоих слов. Без тебя. Я люблю тебя...
- Ты ненормальная...
- Но я люблю тебя! Люблю!
- Все. Адыю! – И он повесил трубку.

Через неделю должна была состояться свадьба.

# Сёстры

## Сказание о русских женах

*Сестре Лоре*

### Глава 1

#### Полина

...Полина только усмехалась; Варвара – мать Варвара – и ворчала, и ворчала, и то не так, и это не так, все равно помирать, на кой черт затеяла переезд этот, вот она, веревка, как уедешь, Полина, так на этой веревке и вздерну себя: уж лучше там, в адовых вратах, чем здесь, в иудиных хоромах, тьфу!.. Полина слушала и усмехалась: неожиданно у нее возникла одна идея... Идея эта была так проста и хороша, что Полина удивлялась, как такое не пришло ей в голову раньше. И вот усмехалась – скорее от радости, чем прислушиваясь к ворчанию старухи.

Мать Варвара сидела на узлах посреди комнаты, в туго повязанном на голове цветастом платке, в просторном, довольно потрепанном платье, поверх которого была надета сначала шерстяная, пегого цвета, безрукавка, а затем одна кофта – магазинная, со скатавшимся от времени седенько-пепельным ворсом, а другая – домашняя, вязаная, которую Варвара носила, казалось, не снимая ни днем ни ночью, – подарок Полины. На ногах у матери Варвары, несмотря на жаркое лето, были натянуты теплые темно-коричневые чулки в резинку, и, хотя она сидела в войлочных полусапогах и ступней ее не было видно, Полина была уверена, что поверх чулок мать Варвара обязательно надела шерстяные, грубой вязки, носки, – от старости или, может, от вечной боязни простыть и заболеть, она всегда одевалась чересчур тепло, отчего выглядела неуклюжей и, что хуже всего, даже неряшливой.

Полина, нисколько не боясь, что мать Варвара может что-то сделать над собой, потому что она уже много раз грозилась посчитаться с этим светом вчистую, Полина решила тут же, не откладывая дела в долгий ящик, сделать то, что надумала. А именно – съездить в совхоз к отцу, Авдею Сергеевичу, всего-то двадцать километров отсюда, от поселка, – полчаса езды на автобусе.

– Ты вот что, – строго сказала она матери Варваре, растащив узлы по углам, – я сейчас обернусь мигом, надо мне по одному делу... А ты смотри не дури, разбери пока вещи, по шкафам разложи... Учти, вернусь не одна – с гостем; чтоб все чин чином было. Новоселье-то надо отметить, а? – И усмехнулась-улыбнулась.

– Новоселье я тут отмечу, как же... говорю тебе, Полина, вот она, веревка, как уйдешь, так и вздерну себя. Не увидишь меня больше живой...

– Попробуй только помри! – пригрозила Полина. – Из петли вытащу и выпорю, помани мое слово!

– Как это – выпорешь? – неподдельно удивилась мать Варвара.

– А возьму вот этот ремень, видишь – он кожмитовый, тонкий да хлесткий, да ка-а-ак начну хлестать по одному месту...

– По мертвой-то?

– А что? И по мертвой. Может, совестно тебе станет, к тебе гости пришли, а ты висишь, как дура стоеросовая. Авось сама слезешь – от стыда да от боли.

– Так ведь я мертвая буду...

– Ничего, оживешь. Оживешь, как миленькая... Так что лучше и не затевай, самой же стыдно будет. Поняла?

– Тьфу на тебя! – озлилась мать Варвара.

На этом разговор их окончился, Полина подхватила сумочку и, щелкнув дверным замком, выпорхнула из квартиры.

Дом, в котором поселилась нынче мать Варвара, – пятиэтажный, блочный, выкрашенный по замыслу поселкового архитектора в желто-белые тона – клетка желтая, клетка белая и так далее, – дом этот находился несколько на отшибе от поселка и поэтому представлялся, особенно издали, то ли разноцветной игрушкой, то ли бутафорией. Во всяком случае Полина слегка подтрунивала над матерью Варварой: «Заживешь королевой теперь. Дом-то, как дворец, разукрашен, а ты все недовольная...» На что мать Варвара скороговоркой отвечала: «Плевать мне на дворцы ваши, плевать, плевать...» Полина, правда, не обращала никакого внимания на ворчание матери Варвары: если б ее слушать (с давних, ох с каких еще давних пор тянется эта ниточка старухино характера!), так тогда бы уже пришлось либо в злобе иссохнуть, либо руки на себя наложить... И черт его знает, что за характер такой! Однако, привычная к ее характеру настолько, что уже не реагировала и не выделяла его среди других, Полина безропотно выносила любые его причуды и выкрутасы, так что со стороны, если посмотреть небыкшимся глазом, могло показаться, что характер у матери Варвары даже золотой, потому как Полина вокруг старухи разве что не пляшет – уж так, кажется, заботится о ней, боготворит и любит ее! С другой стороны, почитание это иной раз представлялось притворным, потому что Полина нередко без всякой причины и умысла помыкала старухой, говорила с ней грубо, откровенно, без обиняков. В общем, отношения между ними были непростые...

Оглянувшись на дом раз, другой и третий, Полина побежала окраинной дорогой в центр поселка, к автобусной остановке, продолжая затаённо улыбаться. Никто, слава Богу, не встретился из знакомых, не хотелось отвлекаться на пустые разговоры и расспросы, хотя в душе у Полины, в сокрытой тайной глубине, как будто пела какая-то струнка, ищущая отзвука, чужого понимания, – все-таки Полина переломила мать Варвару, заставила, как та ни упиралась, переехать в новый дом, а то ведь стыдно уже людей... На этот раз Полина просто-напросто не выдержала, примчалась из Свердловска – мать Варвара сидит посреди двора, на черном, почти в дёготь, бревне, широко расставив ноги и бросив на подол заскорузлые, не отмытые от назёма руки, – как возилась в огороде, так, видно, и во двор пришла, не ополоснув их хотя бы в бочке, которая издавна стоит у них под водосточной трубой; взгляд тусклый, жива ли, мертва, не поймешь, но как услышала Полинину ругань, глаз у старухи – правый глаз – прям-таки засверкал жаром и ненавистью... «Левый-то глаз у тебя, – не раз в сердцах говорила Полина, – недаром как мертвый, потому что сердце закаменелое, злобное...» – «То-то и оно, что сердце у меня, может, по правую руку, не как у вас, балбесов, а ты и не знаешь этого, дура...» – не оставалась в долгу старуха.

Короче говоря, встреча с матерью Варварой получилась, как всегда, не из радостных. Но какое это имеет теперь значение? Сейчас главное – надо ехать в совхоз, к отцу Авдею Сергиевичу, вот и автобусная остановка уже показалась, да и автобус как раз выруливает на посадочную площадку.

Время было – чуть за полдень, народу в автобусе в самую меру – ни лишку, ни мало, стекла по правую сторону были приспущены, так что под мирный пассажирский говор, монотонный гул «пазовского» мотора и свежий струистый ветерок, желанно лившийся из окон на разомлевших от жары пассажиров, дорога, казалось, сама собой, легко и непринужденно катилась вперед. За поселком, за южной его окраиной, дорога нырнула в низину, где повсюду нынче разросся бурьян да репей, – были и тут когда-то дома, самые близкие к заводу и поэтому, как считалось, самые удобные: вышел из дому, а заводская проходная – вот она, не надо и тратить время на дорогу... Металлургический завод, к которому, как дитя к соскам матери, прилепился когда-то поселок, был некогда самой важной, самой существенной частью всей поселковой жизни, десятки лет только и страсти было, как борьба между тремя уральскими сопер-

никами – Северным, Верх-Исетским и Нижне-Салдинским заводами. Чугун, сталь, прокат – вот три кита, на которых стояла жизнь и самый смысл существования поселка... Но пришло время, и рядом с металлургическим взошли, как опята вокруг матерого пня, корпуса нового – трубного завода, который поначалу лишь на цыпочках тянулся за своим старшим братом, даже лучше сказать – отцом, затем нагнал его, а там и перерос, да так сильно, что нынче металлургический завод уже ничто, а трубный – вся жизнь поселка Северный, со временем ставшего, пожалуй, небольшим городом. А пустырь, заросший теперь репьем да бурьяном, а кой-где коноплей, среди которой летними утрами и вечерами поселковая ребятня охотилась с садками за разнопёрыми, в ярких одеяниях щеглами, пустырь этот тоже некогда был поселком, но расширяющимся корпусам трубного завода требовались новые площади, и часть поселка снесли, оголив землю под фундаменты цехов. Однако фундаменты возводить не торопились, а затем и вовсе перенесли на другие земли, на пять километров южнее искусственного пустыря – поближе к прудам, вода которых так была нужна трубному производству... Осиротелая земля, некогда живая из живых, цветущая и плодоносящая, осиротела вдвойне, поросла диким разнотравьем, среди которого живо и радостно бежала лишь лента плотно укатанной, будто утрамбованной проселочной дороги. Дорога эта соединяла северную часть поселка с южной (вместе они и составляли, собственно, небольшой город), а дальше дорога текла к совхозу, к молочным и животноводческим фермам, еще дальше – в леса, в далекую глушь, за которой, казалось, начиналась исконная дикая Русь; на самом деле и там не было никакой дикости, а были дивные лесные и горные озера и пруды, где со временем наладили кооперативный отлов промысловой рыбы – от щедушных окуней и щук до царственных сазанов и карпов.

Где-то на исходе третьего километра обширного дикого пустыря дорога прибавалась к пруду и бежала обочью его извилистого, поросшего кувшинкой и тростниковой осокой берега, и вот тут-то начинались корпуса трубных цехов... На ближайшей остановке из автобуса, распаренные и разморенные, вышли почти все пассажиры – ехали на работу, на завод. «Это ты одна лентяйка, – подмигнув Полине, крикнул с дороги молодой, щекастый, с веселыми глазами и густыми, выгоревшими до белесости усами мужик, – ездешь-катаешься, а мы вот вкалывать... Эй, слышь меня! Эгей!» – и рассмеялся. Полина, еще в автобусе почувствовав на себе его заинтересованный взгляд, но ни единым движением не идя этому взгляду навстречу, – мужику-то? да ну их в баню, одна только маета с ними! – теперь, когда автобус тронулся с места и озорной мужик стал неопасен, вдруг тоже весело крикнула в окно, помахав бедолаге рукой: «Иди, работай, иди, усатик ты наш миленький! Заработаешь чего – тогда поговорим!..» И оглянулась, и долго смотрела вслед убегающей дороге, на краю которой продолжал стоять веселый, а теперь расстроенный, огорошенный своей бестолковостью мужик: «Раньше надо было подвалить, эх, раньше...»

Миновав заводские корпуса, дорога бежала уже не среди пустыря, а среди соснового леса – с одной стороны, а с другой, естественно, продолжался пруд; это был самый девственный, тихий и радостный осколок дороги, сюда еще не добрался человек ни со своим жильем, ни с производственными заботами. Свежезеленый – будто умытый – молодой сосняк переходил в густой сосновый бор, который волнообразно, словно перед тобой морская стихия, растекался и вдаль, и вишь, и самое замечательное – ввысь. Впечатление это возникало оттого, что лес не просто растекался в разные стороны, он залил собой, заполонил все видимые глазу горы, которые сами по себе были не велики, не высоки, но тем не менее это были горы – исконно уральские, основная линия которых – в холмообразной бесконечности, сливающейся в конце концов с горизонтом. Горы и леса, а справа от дороги – струящаяся на солнце, блистающая гладь пруда – вот чему радовался сейчас глаз Полины да, пожалуй, и всех других пассажиров, оставшихся в автобусе. Там, в поселке, когда садишься в автобус, у тебя одно состояние – несколько возбужденное, голова полна мыслей, а сердце – забот, но постепенно дорога как бы примиряет тебя с жизнью, и особенное согласие с ней чувствуешь именно здесь, среди неба,

леса, воды и гор... Покой и мир сами собою вливаются в твою душу, и жизнь не кажется больше бесконечной борьбой за мнимые ее блага...

Вот в таком состоянии, несколько идиллическом, несколько успокоенном и уравновешенном, и вышла из автобуса Полина, когда приехала наконец в южную часть поселка. Здесь, на конечной остановке, в старой, хмурого вида, обшарпанной и неухоженной церкви, расположился поселковый автовокзал.

Полина быстро пересекла привокзальную площадь, разом расплескав недавнее благодушное состояние, и шаг у нее, как прежде, стал тверд, решителен, выявляя обычную для нее силу, даже непоколебимость характера. Для своих сорока лет Полина, пожалуй, была несколько грузновата, но грузноватость эта шла от широкой кости, от мощной отцовской, а еще дальше – дедовской породы. В ней ясно чувствовалась эта порода, и дело тут не просто в физической силе, которая исходила от всей ее размашистой, широкой и вольной фигуры, дело было в другом: в ее поступках, в твердом и смелом взгляде, каким она встречала любую, даже самую тяжелую и трудную новость, в открытости и смелости слов, которые она говорила для того, чтобы высказать свою мысль, а никак не спрятать или утаить ее, тем более – не смалодушничать перед кем бы то ни было. При всем при этом, считая себя вправе говорить только правду, какой бы горькой она ни была, Полина сердечно жалела всех людей без разбору, и нередко случались нелепые сцены, когда человек, только что обруганный ею или услышавший от нее праведные, но вовсе не желанные для себя слова, с оторопью или даже ненавистью встречал неожиданные слова сострадания, жалости или понимания со стороны Полины. Изничтожает, а потом жалеет, – не каждый принимал это за чистую монету, и кое-кто считал ее за обычную дуру, кто-то – за рёхнутую, а некоторые – за двурушную. По-разному относились люди к Полине, но понимать ее, пожалуй, мало кто понимал. То-то и странно было для нее...

Животноводческая ферма начиналась почти сразу за поселком; метрах в двухстах от окраинных его домов тянулись длинные бараки с загонами для коров, огороженными длинными жердями-пряслами. Рядом с фермой пристроился небольшой хуторок из нескольких домов, в одном из них и жил отец Полины, Авдей Сергеевич Куканов. Когда-то он работал на металлургическом заводе, потом оказался здесь, на ферме (а как оказался, про то история особая); но оказался, конечно, не случайно и прижился в конце концов в доме однофамилицы своей, вдовы Кукановой Елизаветы, попросту Лизки-говоруньи. А что Лизка-говорунья была тоже Куканова, удивляться нечему – Кукановых в поселке, как гольянов в пруду, чуть не на четверть водилось. У Лизки-говоруньи рос сын, и иначе как Петька-сорванец никто его на ферме не звал. Доставалось от него и Авдею Куканову, «приемному Куканышу», как дразнил его Петька-сорванец. «Эй ты, приемный Куканыш, а ну-ка догони!» Или по-другому еще кричал: «Эй, Куканов-приемыш, айда опарышей ловить!» Лизка-говорунья сладить с сыном никак не могла, а Авдей Куканов, тот больше молчал, молчать он любил, а если когда и разговаривался отчаянно, так это лишь в перепалках с Варварой, в старой своей жизни, в бытность рабочим на металлургическом заводе. Но как ни молчал Авдей Куканов, а не кто иной, как он, все же урезонил Петьку-сорванца. Уж так тот изгалялся над «приемным Куканышем», так дразнил да подначивал, что однажды Лизка-говорунья не выдержала, расплакалась на глазах у своих «мужиков» – от обиды за Куканова-старшего. И вот этого, слез Елизаветы, не смог простить Петьке-сорванцу Авдей Куканов. Неповоротливый-неповоротливый, а тут вдруг изловчился, хватить Петьку-сорванца за рубашонку (Петька, размазня, растерялся от материнных слез: «Чего она? Вот дура!»), и, как ни крутился Петька, Авдей преспокойно подтащил его к пряслам, взял хворостину, больше похожую на добротное удилице, уложил сорванца на берема непиленых дров да и угостил хорошеньким деревянным медком, ничего не говоря, не приговаривая, а только лишь ахая да пристанывая от старания. Петька молчал; извивался поначалу, пытался укунить «приемного Куканыша», да не тут-то было – Куканов-старший хорошо знал свое дело, так что Петька вскоре смирился, лежал ничком, молчал, только вздрагивал да охал в нахлёт

ударам: сначала, замахаясь хворостиной, Авдей ахнет, потом, отведав хворостины, ахнет Петька-сорванец. А закончилось дело, как ни странно, полным примирением сторон. Получив свое, Петька, не заискивая, не унижаясь, степенно подтянул штаны, поправил рубаху, взглянул смело в глаза «приемному Куканьшу: «Ну, дядька Авдей, – сказал он, – я думал, ты просто прилипала, а ты, оказывается, ничего пахан!» Авдей было усмехнулся победно, но вовремя задержал ухмылку в губах, почувствовав серьезность момента. И понял еще, что перед ним не сорванец, не хулиган, а настоящий мужик, с характером, хотя было Петьке в ту пору лет девять, не больше. Как говорится, не ударишь – не полюбит, – такая среди мужиков присказка ходит насчет своих жен. Так и с Петькой получилось: пока Авдей характер не показывал – был для Петьки ничто, а поучил пацана хворостиной – сразу «паханом» сделался, право получил на уважение и признание. С тех пор меж ними было полное взаимопонимание; ну, не без срывов, конечно, на то и прозвище к Петьке приклеилось – сорванец. Позже уже, когда «сорванец» этот служил в армии, он письма писал не столько матери, сколько ему, Авдею Сергеевичу, признал его за отца, а зачины писем были постоянны: «Здравствуй, отец Авдей Сергеевич! А также большой привет от меня матери!..»

Первое время, когда Авдей оказался на ферме, работать устроился механизатором. Позже стал скотником. Еще позже, с открывшимся ревматизмом в ногах, – сторожем. Сторожем работал поныне...

Полина застала отца дома; только он, видно после ночного дежурства, полулежа-полусядя дремал на топчане, в заветном закутке близ печи. «Дыхание стало сбивать, – говаривал он не раз, объясняя, почему спит полусидя, – дышать трудно. А так вроде полегче...» Когда хлопнула входная дверь и Полина вошла в дом, отец, не меняя позы, не шевельнувшись, привычно открыл глаза – сторож всегда, даже если спит, глаз и слух держит начеку – и, узнав Полину, успокоился, вновь прикрыл глаза.

Полина, окинув наметанным взглядом жилье отца – грязновато, конечно, неухоженно, – тут же, не сказав отцу и слова, подхватила в углу веник, совок, побрызгала немного на пол водицы и давай для начала замывать к печи мусор.

– Ну, приехала опять – пыль подымать... – пробурчал, не открывая глаз, Авдей Сергеевич; пробурчал скорее ворчливо, чем недовольно.

– Не болеешь ли? – не обращая внимания на слова отца, просто спросила Полина, продолжая свое дело.

– А ты вылечить можешь? – усмехнулся Авдей Сергеевич.

– Да ну тебя! – махнула рукой Полина и, закончив подметать, выскочила в подворье, налила из бочки ведро дождевой воды, стянула с забора ссохшуюся каракатицей половую тряпку и легко, с полнэхоньким ведром влетела в дом.

Авдей Сергеевич уже привстал с лежанки, сидел на топчане, свесив босые ноги над крашеным полом, зевал; Полина, скинув блузку и закатав подол юбки («Отца бы постыдилась», – тем же ворчливым тоном пробурчал Авдей Сергеевич, на что Полина, нимало не стесняясь, брякнула: «Поди и нагишом видал, не растаешь, твоя кровиночка...»), начала замывать полы. Доски еще были крепкие, дюжие, а главное – тщательно покрашенные, пропитанные олифой, – заблестели как умытые, как только Полина прошла по ним даже и по первому разу. А мыла Полина всегда в два приема, так что, когда прошла по досочкам еще раз, вся изба, казалось, засветилась ровным солнечным светом, – пол был выкрашен в тугой желтый цвет и, помытый, начинал словно гореть внутренним жарким огнем. Отец, осторожно обходя Полину – а работала она всегда широко, размашисто, не дай Бог попасть под горячую руку, еще и шлепнуть может шутя мокрой тряпкой, – зашел в закуток, который считался кухней, – печь, да стол, да пара табуреток, да крохотное окошко, глядящее на огород, – включил электрическую плитку, поставил чайник. Заглянул в осколок зеркальца, висевший тут же, на кухне, и, взяв расческу, привел в порядок бороду; на голове, пожалуй, упорядочивать было нечего: почти

голый, блестящий череп, а вообще – большая окладистая седая борода да пара въедливых, углистых, серьезных глаз – вот и весь облик Авдея Сергеевича Куканова.

– А что, Полина, – уже веселей проговорил отец, – Женька-то твой жив-здоров, не хворают?

– Чего ему сделается, – тяжело, с придыханием – работает ведь, – ответила Полина. – Целыми днями на улице пропадает, – и, переведя дыхание, отжала тряпку. – Ох, и балбе-е-ес растет, ну балбес...

– Это вот и Петька жалуется. А я посмотрю, нисколько Серега не хуже отца, Петька-то сорванец похлеще был, куда там...

– Как живут-то они? – спросила Полина, сдувая мокрую прядь со лба.

– Да как живут... так и живут, – хитро ответил Авдей Сергеевич. – Живут да любят, ругаются да мирятся.

Полина рассмеялась:

– От нашего недалеко ушли. Ох-хо-хо, грехи наши...

Закончив с мытьем полов, Полина принялась протирать пыль, облазила все потаённые местечки и уголки («Ну, Мамаево побоище...») – опять проворчал отец, на что Полина не обратила и внимания), и вот, кажется, не прошло и получаса, как появилась на пороге Полина, а изба будто обновилась, ожила, задышала уютом, светом и чистотой. Изба, конечно, у Авдея Сергеевича была невелика: какходишь – направо кухня, а прямо по ходу – одна-единственная комната: и спальня тебе здесь, и столовая, и гостиная... Причем кухня от комнаты отделялась не столько стеной, сколько русской печью, которой отец гордился и ни за что не хотел ломать, хотя на ферме не раз предлагали провести в дом паровое отопление; особенно настаивал на этом Петька, Петр Петрович Куканов, ставший к этому времени заведующим фермой, женившийся, естественно, и окончательно отделившийся от Авдея Сергеевича. (А Елизавета, Лизка-говоруня, лет семь как померла...) Настаивал-то Петька, видно, потому, что стыдил себя за Авдея Сергеевича: все люди как люди живут, у всех удобства, тепло, у него самого, у Петра Куканова, квартира не хуже городской будет, а отец на тебе... Одно выручало Авдея Сергеевича – уважал его Петька, особенно не тормозил; как началось еще уважение с давних пор, с памятного угощения хворостиной, так и продолжалось поныне...

Авдей Сергеевич заварил крепкого, «как самосад», говаривал он сам, чая, и хотя Полина не была настроена гонять чай, совсем другое было на уме, но тут она с радостью согласилась: не посидишь с отцом спокойно, не поговоришь степенно – считай, зря приезжала, ничего от него не добьешься. А тут – тем более – дело такое деликатное...

Говорили о том о сем, Полина раскраснелась – поначалу от работы, а теперь еще от заваристого чая, пышущего ароматным духом крепости и сласти, и отец Полины то ли любовался ею, то ли просто радостно чувствовал в ней свою породу, во всяком случае смотрел на нее веселым, лукавым, как бы даже подначивающим взглядом: ну-ну, посмотрим, на что ты еще мастерица, поглядим... А когда услышал между прочим, что Полина в это лето успела побывать у Зои, у сестры, это черт-те сколько от Урала будет – тыщи километров, то и в самом деле удивился. Тут удивление-то было не только в том, что побывала, а что подхватила как угорелая в отпуск за свой счет и айда мотаться по России, в далекую Зоину сторонушку...

– Знать, пригорело там, – усмехнулся Авдей Сергеевич. – Вот Варвара бы и поехала, так нет, все тебя черти носят.

И Полина, почти счастливая (но не показывая этого), что разговор повернулся в эту сторону и что отец сам помянул имя матери Варвары, как бы между прочим обронила:

– А здоровье?

– Чье здоровье? – не понял Авдей Сергеевич.

– А здоровье у матери Варвары? Каково ей ехать-то?

– Да она здоровая, как лешак, а то я не знаю... – Голос у отца сразу зазвенел твердостью и неудовольствием.

– «Как лешак»... – передразнила Полина. – И откуда только слова такие берутся?

– А из души, – обронил Авдей Сергеевич.

– «Из души»... – опять повторила его слова Полина. – А сам небось уж сколько лет не видал ее?

– Кого? Душу-то? – усмехнулся, но не весело, а недовольно отец.

– Да не душу, а мать Варвару.

– А я думал – душу. Душу-то людскую попробуй высмотри. Вот как плюнут в нее – тут она сразу на виду делается...

– Так и не плюй на других.

– Это я, значит, в кого плюнул?

– Да ни в кого, а так, к слову...

– Если ты о Варваре говоришь, так на нее я плюю и даже извинения не прошу.

– Отец...

– Вот тебе и отец! – Глаза у Авдея Сергеевича налились темным угольковым светом – сразу стал виден весь его строгий, непримиримый характер; попробуй обхитри, свороти такого.

Но Полина и сама была характером в отца, решила – раз уж настала такая минута, не надо и кривить душой, а лучше выложить в конце концов, зачем к отцу пожаловала; сам-то он не спросит – гордый, куда там...

– Из Свердловска-то я знаешь зачем приехала? – спросила Полина после некоторого молчания.

– Откуда ж знать... – поуспокоившись, но все еще ворчливо проговорил отец.

– Мать Варвару перевозила.

– Куда перевозила? – не понял Авдей Сергеевич.

– Дом-то наш совсем сгнил, жить невозможно, а тут как раз под снос попал. Завод расширяется, площади нужны под новые цеха. Дали матери Варваре квартиру однокомнатную; вот приехала, перевезла ее...

– А я при чем?

– При чем, при чем! – вспыхнула Полина. – Что вы как звери окаянные. А при том... думала, может, съездим к ней, посидим, новоселье отметим...

– И это ты мне говоришь?!

– Тебе. Кому еще.

Авдей Сергеевич как-то оскорбленно-осуждающе, будто пристыживая дочь, покачал головой:

– Эх, как ни кругла бабья голова, а все же больше на кочан капусты похожа... Да чтоб я к Варваре поехал?! Я?! Да ты ответь, на кой хрен она сдалась-то мне? Ну?

– Так и помрете врагами?

– Да не враг она мне, не враг. А так – тьфу! Пустое место. Поняла или нет?

– А я-то думала, ты хоть к старости смягчишься... Как сычи, спрятались по разным углам. Сидят, лупят глазами, эх, ну и люди!

– Я ни от кого не прятался... Я, как видишь, живу здесь, у всех на виду, кому надо – двери мои всегда открыты. А что ты с этой выжившей из ума возишься – это твое дело. Доброе-то слово от нее слышала хоть раз в жизни? Ты ей – и то, и это, и пятое, и двадцатое, и в квартиру вон новую перетащила, а она небось опять тебя костит?

– Костит, – охотно согласилась Полина, чтоб хоть как-то разрядить разговор, и улыбнулась покаянно – рассеянно.

– И поделом тебе! – тряхнул седой бородой Авдей Сергеевич, но в глазах его – это было видно – угольки несколько поугасли, подернулись успокаивающей дымкой.

- А чаю-то нальешь еще? – улыбнулась Полина. – Или все, вконец осердился?
- Эх, Полинка ты, Полинка, добрая душа... – совсем, кажется, отходя от гнева, проговорил отец, взялся за чайник, налил сначала крутой заварки, а потом плеснул кипятка. – Женьку-то чего не везешь сюда? Лето!
- Да в лагерь на днях поедет. А сюда его, хоть тресни, калачом не заманишь.
- Не любит нашенские места?
- Да разве в том дело? К бабке, говорит, приедешь – ворчит на деда, к деду приедешь – чтоб о бабке ни слова не скажи...
- Подрастет – разберется, – безразлично обронил Авдей Сергеевич. – Какие его годы...
- Да и Борька, дурак, тоже его науськивает. Перед тобой, говорит, светлая чистая жизнь, а там ты как в яме какой... Берегись, Женька, стариков да старух, из ума выживающих...
- Муж твой, Борька-то, сразу видать – человек серьезный, почтительный.
- Смеешься, что ли?
- А нисколько... Уважение-то в чем? В том, чтоб что думали, то и говорили. Правда – она человека не уронит. А потом ты на себя посмотри...
- Ну? – не поняла Полина и даже чашку отставила в сторону, оглядывая себя.
- Мечешься, как белуга угорелая, и там, и сям, аж под кошкин срам заглядываешь («Ну уж!» – махнула Полина рукой) – повсюду дерьмо хочешь вычистить, а ты скажи – получается?
- Получается, получается...
- А вот Борька твой тебе и говорит: не в том утеха, чтоб стариков мирить, а чтоб жили люди всяк на свой лад...
- Да никогда он такого не говорил!
- Не говорил? Зато об этом вся жизнь его говорит.
- И чего ты его всегда защищаешь? Мужика моего?
- Вот из того самого, что муж он, – усмехнулся Авдей Сергеевич, – из солидарности.
- А мать-то Варвара, знаешь, что говорит? Уедешь, Полина, в Свердловск – возьму веревку да и вздерну себя.
- Авдей Сергеевич хрипло, долго, от души смеялся над этими словами; даже прослезился:
- Да никогда она не повесится! Ты сам ее повесь, выбей у нее табуретку из-под ног, убедись – все, конченная, а зайди хоть через десять минут – она уж в углу на табуретке сидит, живёхонькая, глазёнки мелкие горят, и вот поливает весь белый свет... «Чего это ты, Варвара?» – спроси у нее. А того, скажет, веревки еще такой на меня не сделали, чтоб я с ней не управилась, тьфу на вас, окаянных...
- Полина, слушая долгую эту тираду отца, слегка наклонила в изумлении голову и сначала непонимающими, а потом веселыми, а еще потом – смеющимися глазами смотрела на воодушевленного своей речью отца. Чудные все же эти старики, ей-богу – чудные... С одной стороны на них посмотришь – вроде такие, с другой – совсем иные, не похожие ни на Бога, ни на черта, ни на ступу с кочергой...
- Ну, спасибо хоть – успокоил, – проговорила Полина. – Я-то ведь не на шутку встревожилась: мать Варвара, она с норовом, выкинет еще номер – тебе же потом хоронить придется.
- Мне, что ли? – не понял Авдей Сергеевич.
- А кому еще? – нарочно с серьезным видом удивилась Полина.
- Э-э, нет... – погрозил отец пальцем. – У ней Зойка есть, зять, внуки да твоя еще семья – хватит народу, чтоб запихать, куда следует, с почетом.
- А ты – даже и веночек не принесешь?
- Не то что веночек, а и знать не хочу, живая она или мертвая! Помрет – пускай сама с собой разбирается.
- А к живой, значит, в гости не поедешь?
- Снова осердить меня хочешь?

– И спросить нельзя?

– Спрашивала – ответил. Ты там как хочешь с ней, а я такую женщину, как Варвара, не знаю и знать не хочу.

– Ладно, поняла. Спасибо за угощение. – Полина поднялась с табуретки, засобиравлась домой.

– Еще и обиделась? – удивился Авдей Сергеевич.

– А хотя бы и обиделась, но ехать надо. Сначала к матери Варваре, а там и в Свердловск, домой. Дела-то не ждут...

Авдей Сергеевич покорно проводил Полину до ворот, приостановил чуть, нарвал в огороде гороху и бобов, сунул дочери.

– Женьке там отдашь... Извини, угощение не богато...

– Да чего там! – махнула рукой Полина. И, чуть задержавшись у калитки, выпалила скороговоркой: – На всякий случай запомни: улица Metallургов, дом 15, квартира 6.

Отец пропустил ее слова мимо ушей, спросил свое:

– К матери-то не забегала?

– В другой раз, отец. Сегодня вряд ли успею.

– К Варваре время находишь шастать, а до матери руки не доходят, конечно...

– Мама простит: живым нужно наше участие.

– Мертвым, понятно, ничего не нужно.

– Забегу, отец, забегу. Не в этот, так в другой раз... Ну, до свиданья! – И чмокнула отца в щеку.

## Глава 2 Варвара

Дом Ильи Сомова прилепился к самой окраине поселка. Дочери Ильи, Варвара и Катерина, перед самой войной совсем заневестились, особенно старшая, Варька: время ее подкапывало к девятнадцати годам. Девка она была с норовом, темная волосом – почти вороного крыла, глаза бесовские – с глубоким донным отливом, в которых то густо, а то еще гуще плавилась, казалось, сама чернота. Характером вышла взбалмошная, своенравная; Авдюшка Куканов, который ухлестывал за ней, и мучился с Варварой, и проклинал ее, а отстать не мог – приворожила. Девка – она ведь чем неподатливей да дурней норовом, тем сильнее не то что парня, а и мужика к себе влечет. Будто самой природе, самой жизни хочется такому парню или мужику доказать, что нет, не выйдет с ним такое, сломит он хребет девке, переиначит на свой лад, заставит плясать под свою дудку. А вот и месяц прошел, и два, и год, и второй покатился, а девка не поддается: и делать с собой что хочешь дает, кроме главного, и твоя она вроде, с тобой ходит, гуляет, тебе время свое драгоценное – вечернее девичье время – отдает, а уверенности у тебя никакой. Руки, губы, тело – все рядом, а душа – Бог знает, где только она витает у нее. Да и есть ли вообще душа у Варьки?

Одно удобно – дом Сомовых на краю поселка, дотемна ли бродишь или, может, вовсе не хочет тебя видеть сегодня Варвара, ходить да миловаться, – потихоньку проводил ее к калитке и был таков – никто тебя не видел, ни позора твоего, ни твоих крадущихся шагов, никто вслед не прошептал зло, не крикнул насмешливо: «Кукушонок вон, бес его возьми, опять по ночи шастает, на девок оружие свое оттачивает...» К тому же и нрав у Ильи Сомова, отца Варьки, был похлеще дочериного, только и сказал однажды ей: «Принесешь в подоле – убью!» – а отсюда вывод: не любил он, когда дочери его по вечерам в гулевань ударялись. Не любил, понятно, и Авдюшку Куканова. Не потому, что не нравился ему парень, наоборот – по дневному-то делу он ему по душе был: спокойный, хозяйственный да и не дурак к тому же, – а вот по ночному, по тому, что в темной да зрелой ночи может натворить с его старшей дочерью, девкой дурной и заполошной, – тут Илья Сомов не мог себя превозмочь, опасался, косился на Авдюшку Куканова настороженным глазом, ждал подвоха, а то и подлости. Потому что, рассуждал он здраво, были бы у парня серьезные мысли, не прятался бы по огородам да не кукарекал у калитки (позывной такой у них с Варькой был: ку-ка-ре-ку-у!..), а пришел бы сам к Илье Сомову, сказал бы: так, мол, и так, – а еще лучше – сватов заслал, глядишь бы – и породнились с отцом его Сергием...

Только не знал Илья Сомов, что заковыка-то была не в Авдюшке Куканове, а в Варьке. Вертела она им, как хотела, а на самую его главную мольбу – пойти за него замуж – бросала особо насмешливо, даже зло: «Дурень ты, Кукушонок, не люблю если – так это тебе не слаще оглобли покажется...» Так что Сомов Илья, косясь на Авдюшку Куканова, делал это зря.

Поселок у них в то время был хоть и рабочий, но все же напоминал скорей большую деревню, особенно по окраинам. Металлургический завод, некогда основанный здесь знаменитой уральской династией купцов и заводчиков Демидовых, особого размаха не получил, имел не более чем областное значение, не разрастался, и заводской люд, как это всегда бывает при небольших фабриках и заводах, был наполовину крестьянской закваски, а еще точнее – имел собственное натуральное хозяйство: здесь и коровы, овцы, куры, гуси, огороды, делянки, покосы... отсюда и особая психология большинства посельчан: завод заводом, там, конечно, план, смены, металл, но здесь, дома, ты сам себе хозяин, огород не вскопаешь, сена не накопишь, считай – зиму не проживешь, семью не прокормишь...

И нравы в поселке, и говор, и обычаи, и сам ритм жизни – все, пожалуй, так и продолжалось во времени: полудеревенское-полугородское. Никого это не удивляло, не расстраивало:

что естественно, то хорошо и разумно. И поэтому, когда в никем и ничем, казалось бы, не примечательном поселке появилось несколько не просто новых, а совершенно других, другого склада и вида, людей, может, даже из самой столицы, как поговаривали, поселчане разом и возгордились, и насторожились. Люди эти и в самом деле из Москвы – военспецы, каких никогда не бывало на их заводе. Толков и слухов о будущей войне, как и по всей России, хватало, конечно, и у них, но теперь, когда не где-нибудь, а в их забытом богом поселке, на небольшом заводике появились военные специалисты, – тут поселчане призадумались. И пока они думали и по закоренелой полудеревенской привычке чесали лбы, жизнь продолжала катиться вперед, и так вскоре эта жизнь притерла военспецов к нравам и ритмам поселка, что вскоре и перестали на них обращать внимание. Хотя помнили, конечно, помнили о них – суды да пересуды о войне что-то не утихали сами по себе, скорей наоборот.

Одно оказалось неудобство в поселке – не было в нем гостиниц; не то что гостиниц, даже захудалого какого-нибудь дома для приезжих – и того не было. Больше того, поселчане и не представляли, что такие дома, оказывается, где-то существуют. Пришлось военспецов распределять на жилье по домам рабочих – где получше, почище, где поудобней. Дом Ильи Сомова, например, выбрали именно по третьему признаку – где удобней. Как срубил его Илья когда-то, так он и стоял – окраинный и как бы одинокий, – дальше в ту сторону строить не разрешали, потому что неподалеку начинались цеха. А раз совсем рядом были цеха, Егор Егорович Силантьев, старший военспец, и выбрал для себя дом Сомовых: днем ли, ночью ли, утром – завод всегда рядом. Выделили Егору Егоровичу маленькую, но опрятную (с окнами на завод, с одной стороны, с видом на огород – с другой) комнату-«малушку», и с тех пор в доме Сомовых – необычное для них дело – поселился чужой человек, «жилец». Пока что привыкли они к Егору Егоровичу!..

А Егор Егорович Силантьев, хотя и военспец, оказался человеком мягким, добрым, правда, малообщительным, но это его качество все понимали и уважали: во-первых, у военных всегда есть свои тайны, а во-вторых, он ведь человек не как все, не поселковый какой-нибудь и даже не из Свердловска – а из самой Москвы, из далекой загадочной столицы, – чего ему особо разговаривать с поселчанам, о чем?

Неразговорчивость Егора Егоровича, правда, имела другую причину, но это выяснилось гораздо позже. К тому же старший военспец был настолько поглощен заводскими делами, настолько весь, как говорится, ушел в металл (задачей военспецов было – найти особый режим плавки для производства специальной, высокопрочной марки стали), что неразговорчивость Силантьева можно было объяснить и занятостью, и усталостью, и просто нерасположенностью после трудового дня к пустым разговорам.

– Что ж не жалеете-то себя, – вздохнет, бывало, глядя на него, как на сына, одинокого, безродного, неутешного, Евстолия Карповна, хозяйка дома. – Почернели совсем...

Егор Егорович, задумавшись и как бы слепо вглядываясь в какую-то одному ему известную, заветную точку в окне, забыв о ложке с супом, которая на полпути ко рту застыла в воздухе, вздрагивал от слов хозяйки, но не смущался, а только хмурился, будто становился недоумен собой.

– О себе теперь думать преступно. – И слова его звучали жестко, твердо, совсем не похоже на его мягкую добрую натуру.

– Стало быть, вы полагаете, Егор Егорович, – вставлял свое слово Илья Сомов, стараясь говорить степенно, умно и грамотно, – война с немцем надвигается? Или, может, другое что в этом роде?

– Да, война, – коротко отвечал Силантьев и, словно выйдя из забытья, принимался хлебать щи.

– А я говорю – никакой войны не будет! – неожиданно выпалила однажды Варька и смело, как бы поддразнивая военспеца, устала наклоненную над щами фигуру Силантьева.

– Цыц ты! – прикрикнул на старшую дочь отец; младшая, Катя, от испуга и стеснительности сидела, опустив глаза.

Егор Егорович оторвал взгляд от тарелки, набрякшие его веки – было видно – с трудом поднялись вверх, и он с непониманием, с тяжелым осуждением взглянул на Варвару.

Варька выдержала его взгляд; глаза ее искрились озорством, вызовом, лукавством и той особой, счастливой беспечностью, которую недаром в народе окрестили: молодо – зелено.

Вот так они и смотрели друг на друга – глаза в глаза, лицо в лицо. И Силантьев не выдержал, вдруг легко согласился с Варькой:

– Ну, значит, не будет... – И улыбнулся странной своей, мягкой и доброй улыбкой давно уставшего, мудрого человека, принявшего на себя все заботы о несчастных, заблудших людях, улыбнулся удивительной своей улыбкой так, что с этой секунды что-то перевернулось в девичьей душе Варьки...

Варька, независимая, гордая, бедовая девка, которая только и делала, что смеялась всегда над парнями, смеялась тем больше, чем больше нравилась им (Авдюшку Куканова, к примеру, совсем иссушила, сделала глупым ручным теленком, каким тот по характеру и по природе своей вовсе никогда не был) – эта взбалмошная девчонка извела наконец, что такое душевная, необоримая тяга к другому человеку; из тяжелых, серьезных, умных глаз Егора Егоровича будто влился в девственную и слепую пока душу Варьки сладостный ток чувственного томления; томление самого Егора Егоровича, по всей видимости, было иного рода, разрядом или рангом выше обычной чувственности и личной эгоистичной любви, его томление было думой о людях, сопряженной с состраданием к ним, к их скорым, возможно, тяжким и лихим испытаниям, он как бы заранее любил всех, всех прощал, всем воздавал, оставляя в себе самом всеобщую грусть и тоску, аккумулируя эти чувства в душе – один за множество людей, как некий избранник слепой, но вполне реальной могущественной судьбы. Вот эту печать Силантьева – избранность его – Варька не поняла, нет, но почувствовала, на нее дохнуло неотразимой мощью человеческого духа. Как будто Силантьев – это недостижимая вершина, а она, Варька, где-то глубоко в пропасти, но в глубину и бездонность ее пробился луч помощи, поднял Варьку на свое светоносное крыло, вызволил из пропасти и понес, понес, закружил, даже дух у Варьки перехватило!..

Однако сам Егор Егорович, конечно, не сознавал, какой властной и губительной силой оглушил вдруг Варькину душу; дел-то всего для него было – взглянул на девчонку, посмотрел ей внимательно в глаза и улыбнулся. Улыбнулся и, может быть, даже забыл о Варьке, хотя какое-то время перед глазами у него стояла ее лукавая, озорная, беспечная улыбка-вызов. Что с нее возьмешь – девчонка, с сосредоточенной печалью решил Силантьев и, наскоро покончив с обедом, заторопился на завод.

На завод они всегда ходили вместе – Илья Сомов и Силантьев, отправились вместе и на этот раз.

– Пойдите, меня подождите! – крикнула Варька, но отец махнул рукой: «Не барыня – ждать тебя...»

Варька и сама толком не понимала, почему вдруг бросилась за ними, – та осиянность, которой одарил ее Силантьев всего лишь одним внимательным взглядом своих серых печальных глаз, то трепетное и чувственное томление, которым через край были наполнены ее душа и тело, словно требовали теперь, чтобы она, Варька, была всегда рядом с Силантьевым, даже не так – чтобы Егор Егорович находился всегда в виду ее глаз, где-то рядом – слышимый, чувствуемый, осязаемый. И вот она бросилась за ними – просто от испуга: как же так, она-то вот где, здесь, а они, он, Егор Егорович, уходит, исчезает, – это невозможно!

Отец с Силантьевым ушли, а мать Варвары, бросив на дочь внимательно изучающий взгляд, полуспросила-полуудивилась:

– Чего это ты, девка? Иль сама на завод дорогу не знаешь?

Варьке, странное дело, захотелось ответить матери что-нибудь грубое, резкое, но тут к ней подошла младшая сестра Катя, всегда такая ласковая, обняла за плечи: «Пойдем, Варя», – и Варька сразу успокоилась, только сверкнула на мать глазищами: вечно ты лезешь, когда тебя не спрашивают!

Варька, надо сказать, частенько ругалась с матерью: была в Евстолии Карповне какая-то елейность, неискренность, что ли, и Варька, став взрослой, чутко слышала в матери эту фальшивинку, и чуть что – у них с матерью шум, гам, ссоры. Катя была для матери гораздо больше по душе – ни слова грубого, ни взгляда косоного, однако сама Катя была сердцем на стороне Варьки: ее восхищала Варькина прямота, смелость, бесшабашность. Только что окончив десять классов, Катя еще нигде не работала (а пойдет, конечно, на завод – обычная жизненная дорога большинства поселъчан), Варька же рассчиталась со школой, как она сама посмеивалась, еще в прошлом году – сестры были погодами – и работала теперь в листопрокатном цехе, ученицей на сортировке, и хотя, если хотела, работала горячо, неистово, разряд ей никак не присваивали – срывалась, начинала грубить то бригадиру, то мастеру, натура такая... попала шлея под хвост – и понеслась Варька вскачь, как дурная кобыла. Так ей в цехе и говорили иной раз: «Кобыла ведь уже, но до чего дурная, а?..»

Варька с Катей вышли из дома и только было направились на завод, к ним из-за забора, усмехаясь и посмеиваясь, больше от робости, чем от наглости, вынырнул Авдюха Куканов.

– Привет честной компании! – громко поздоровался он, но вся его бравада, громкий голос, легкое постукивание прутиком по сапогам, начищенным до блеска черной ваксой, все это было напускным, ложно-панибратским.

– Дай прутик-то – поприветствуем тебя! – вместо игривого «здравствуйте-пожалуйста» ответила Варька, и обе сестры, переглянувшись, озорно рассмеялись – так прямо и прыснули.

– А чего, на, постегай. Попробуй! – Широко улыбаясь, Авдюха протянул Варьке прутик.

– И не заплачешь? – Варька, даже глазом не моргнув, перехватила из его рук прутик.

– А ты испробуй! – отважно предложил Авдюха, подставляя спину, и даже, ерничая, ловким движением выдернул из штанин низ рубахи, оголил спину. Спина у него была видная – широкая, мускулистая, с мощным хрящом-позвоночником, который, как кряж, бугристо разрезал широкую долину спины. С такой-то мощью да силой ему, конечно, легко давалась работа на заводе – вторым подручным сталевара, на котором, естественно, лежала немалая физическая нагрузка.

И вот тут, в эти секунды, замахиваясь прутом, Варька и осознала (ее как бы пронзило), что такое главное она должна сделать в своей жизни... Не это вот, дикое и скоморошное дело, тьфу на него, на Авдюшку Куканова, хотя можно и хлестануть его пару раз – так, для остротки, из озорства, да еще чтоб не хвастался, и она в самом деле хлестанула его – да от души! – раза три по широкой спине, – но самое главное: она должна отвоевать Силантьева у жизни, завоевать его, она знает, поняла теперь, как сделать это, и чего бы ей ни стоила любовь – пусть хоть в тартарары потом, хоть к черту на рога, ей все равно...

И Варька, занятая этими мыслями, как бы даже не совсем поняла, что произошло вдруг: Катя, что так не похоже на нее, резко, с болью перехватила Варькину руку и даже не проговорила, а простонала:

– Да ты что, Варька, сдурела?! Ты что это?! Ты же прутом его, прутом... – И глаза ее налились слезным тихим укором, а чуть позже пролились две-три слезинки, как ни сдерживала себя Катя.

Разогнувшись, заправив рубаху в брюки, Авдюха Куканов с удивлением смотрел на Катерину.

– А чтоб в другой раз не хвастался, – хотела легко отмахнуться от разговора Варька, но младшая сестра продолжала крепко держать ее за запястье. – Ну,пусти ты, очумела, что ли... –

дернула рукой Варька и, повернувшись к Авдюхе, проговорила презрительно: – Тебе вот за кем хоропроводить-то надо, за Катькой. А ты все за меня, дуру грубую, цепляешься.

– Дуры-то – они слаще, – в прежнем тоне напускной лихости и бравады парировал Авдюха.

– Дуракам, оно конечно, дуры всегда слаще... – И тут сестры, вновь переглянувшись, как ни в чем не бывало прыснули во второй раз; слезы, правда, еще иссыхали на Катиных щеках, но легкий ее, девичий смех говорил сам за себя: она уже не сердилась на сестру и, пожалуй, даже стеснялась неожиданного своего порыва.

И, не разговаривая больше ни о чем с Авдюхой, перестав вообще обращать на него внимание, сестры, толкаясь, побежали тропинкой мимо прясел, а там – прямой дорогой на завод... Катя, как всегда, провожала Варьку до самой проходной.

Работая в листопркатном цехе, Варька редко видела Егора Егоровича, потому что военспецы пропадали главным образом в мартеновском цехе или в химической лаборатории.

Томимая ненасытной тоской видеть, почувствовать рядом с собой Силантьева, Варька, как только оказывалась дома, старалась под любым предлогом зайти или хотя бы заглянуть в «малуху» Егора Егоровича. Если его не было дома, а это чаще всего, Варька без всякого стеснения заходила в комнату и начинала мыть и до того уже до блеска вымытые полы, протирать несуществующую пыль, поправлять постель, наводить порядок на этажерке, задерживаясь взглядом на фотографии мальчика лет четырех, которая стояла на одной из заваленных книгами полок. «Как думаешь, это его сын?» – спросила Варька однажды у младшей сестры, но Катя только испуганно округлила глаза и ничего не ответила, язык присох к нёбу.

Варька не просто спросила, она держала в руках эту фотографию – мальчишка в матросской форме, взмахнув саблей, скачет на игрушечном коне, – взяв ее с этажерки и вынеся из «малухи» в общие комнаты. Никак не могла осознать Катя, как это Варвара так спокойно может заходить в комнату Силантьева, трогать его вещи, брать в руки вот эту фотографию, например, – как не стыдно хоть? «Подумаешь! – презрительно бросала Варька. – Да он мне сам разрешает все брать!» Мать Варьки, Евстолия Карповна, раза три пыталась усовестить старшую дочь: «Чего ты к нему шляндаешь, чего надо там, чего ты человеку тарарам устраиваешь?» – на что Варька, не поморщив лоб от размышлений, раздраженно отвечала: «Он мне спасибо за то говорит, а ты – тарарам, тарарам! Сама тогда убирай, а я больше пальцем не прикоснусь к его грязи...» – «Где ты у него грязь-то увидала?» – «Не видала, потому что прибираюсь. Им, мужикам-то, дай только волю... живо в грязи зачухаются». Евстолия Карповна не любила с Варькой связываться, махнула рукой и тут: черт с ней, не убудет ведь от девки, да и квартиранту от лишней чистоты не хуже. А что там Варька вбила себе в голову насчет Силантьева, так это – тьфу! Егор Егорович человек столичный, в Москве небось одних музеев вон сколько, неужто начнет пялиться на такую невидаль – Варьку, враз разберется, кто она такая есть на земле – зловредная цаца, все только и норовит мать да отца поддеть...

Егор Егорович, заставая у себя Варьку, особо этому не удивлялся, удивлялся другому: почему она не уходила, когда он хотел остаться в комнате один.

Удивлялся, конечно, про себя, вслух ничего не говорил. Не то что бы ему не хватало места или, к примеру, он терпеть не мог Варьку, нет, дело было в неудобстве, что ли, хотелось побыть одному, полежать, помолчать, подумать, заложив руки за голову, а тут – на тебе, все-то около него Варька крутится. Егор Егорович, впрочем, как бы замечал и не замечал ее одновременно. Старался делать так...

– А как его зовут? – ни с того ни с сего спросила однажды Варвара.

– Кого? – Силантьев, чуть повернувшись, приподнял голову с подушки.

Варька бережно сняла с этажерки фотографию и, держа ее, как икону, – чуть впереди себя на вытянутых руках, сказала:

– А вот его. – И тут же быстро добавила: – Это сын ваш, да?

– Гошка, – ответил Силантьев, внимательно и серьезно вглядываясь, словно в первый раз, в лицо мальчишки.

– А жена? – замерев душой, спросила Варька.

– Что жена? – не понял Силантьев. – Тебе сколько лет, Варвара? – без всякого перехода поинтересовался Егор Егорович.

– Девятнадцатый...

– И войны, говоришь, не будет?

– Нет, – помотала головой Варька: а хороша она в этот момент была: черные рассыпавшиеся волосы – при покачивании головы – всколыхнулись тугими волнами.

Егор Егорович привстал, сел на кровати, чиркнул спичкой. Курил он, непонятно почему, не папиросы, а козью ножку, как старый дед какой-нибудь.

– Жены у меня нет, – помедлив, покурив, сказал наконец Силантьев.

– Она и Гошку к себе забрала?

– Верно. И Гошку себе забрала.

– А сама сбежала с офицером? – Варька присела на корточки перед кроватью Силантьева. Егор Егорович, удивленно взглянув на Варьку, вдруг громко, от души рассмеялся.

– С офицером, говоришь? – смеялся он. – Ох, Варька ты, Варька, девятнадцатый тебе годок... Почему именно с офицером?

– А с кем же? С кем же еще убежишь-то?

– Ну, вот я тоже офицер – и что? Побежишь ты, к примеру, со мной?

– А что? Запросто побегу!

Силантьев снова от души рассмеялся:

– Ох, глупая твоя голова, Варвара... – И, отсмеявшись, через некоторое время добавил: – Не сбежала она от меня, нет. Просто вышла замуж за другого. За товарища моего, кстати. И не офицер он вовсе, а инженер.

– Ничего себе товарищ! Да я б на вашем месте!..

Силантьев только грустно покачал головой.

– Хоть бы сына тогда отдала, – не успокаивалась Варька.

– Сына не отдала, – погрузнел Егор Егорович и, подложив руки под голову, снова прилег на подушку.

Теперь, однажды разговорившись о сыне, о семье, Силантьев был не прочь иногда поговорить с Варькой о своих делах-бедах, хотя разговоры эти, видно, ложились едкой солью на неза рубцовывающиеся раны Егора Егоровича. Обычное молчание его, сосредоточенность, даже хмурость и нелюдимость – все это шло от беды, которую он носил в себе, ни с кем не делясь ею, и в то же время, как всякому страдающему человеку, ему – глубоко в душе, подспудно, даже неосознанно, может быть, – хотелось высказать свою боль, хотелось понимания, сочувствия, сострадания... Работа Силантьева и то, что внешне он производил впечатление «железного», замкнутого человека, – все это напрочь отделяло его от обычных, бесхитростных житейских разговоров и отношений, и тем дороже ему стало, что совсем молодая и глупая еще, конечно, девчонка своей непосредственностью, наивностью и прямоотой словно вытащила его душу из брони отчужденности. И даже когда Варька переходила всякие границы, начинала, например, просить его посмотреть на нее внимательней, вглядеться серьезней и объяснить: что в ней такого страшного и дикого, что он, Егор Егорович, не воспринимает ее как женщину, не замечает ни ее страданий, ни ее... тут она хотела бы сказать: любви, – но, слава Богу, у нее никогда не хватало на это духу, – даже когда она несла всю эту несусветицу, он, Силантьев, был благодарен Варьке и иной раз ловил себя на том, что в самом деле вглядывается в нее: а чем она действительно так уж плоха, отчего так заведомо строго отделил он себя – от нее, а ее – от себя? Инерция? Разница в возрасте? Боязнь обидеть Варькиных родителей? Или дело было серьезней – в полной несовместимости их, как двух разных людей? Но почему? И пока, по-

своему, она гадала об этом и пока, по-своему, о том же самом гадал Силантьев, они продолжали тянуться друг к другу, Варька – по необоримому влечению проснувшейся души, он – из чувства благодарности ее непосредственности, молодости, наивности, которые пробили брешь в его одиночестве.

Впрочем, ранними утрами, в часы полной отрезвленности от грез и ночных мечтаний, Силантьеву все это казалось дикой чепухой, чушью, и он, хмурый, раздосадованный, торопился вместе с хозяином дома, Ильей Сомовым, на завод...

## Глава 3

### Полина

Получив письмо от Зои, что дело совсем худо: «...*Как ни бьюсь – все не так, все неладно, по всему видать – развалится вконец наша семья...*» – Полина и думать не стала, засобиравшись в дорогу. Борька, муж Полины, как всегда в таких случаях, когда Полину срывало с места и несло черт знает куда – доказывать истину, бороться, смешно сказать, за правду жизни, – Борька многозначительно повертел указательным пальцем у виска: что, старушка, того, да? Других средств, повыразительней и подоказательней, у него, как обычно, не было: все равно Полине ничего не докажешь, ничем не переубедишь, хоть кол на голове теши... Человек спокойный, уравновешенный, а во многих случаях даже равнодушный к чужой жизни, Борька и влюбился-то в Полину в пору их учебы в Уральском политехническом институте, потому что это была черт знает что, а не Полина. И взяла она Борьку вовсе не любовью, а скорей всего оторопью, лучше не скажешь, – Бог его знает, удивлялся он, откуда в человеке столько энергии, столько страстной жажды лезть везде и всюду, доказывать чью-то правоту, защищать обиженных, возиться с лентяями, дармоедами и просто недоумками. Учились Борька с Полиной на одном курсе, но в разных группах, знакомы были плохо, но это не помешало Полине однажды подойти к Борьке, взять, точнее – схватить за руку и потащить за собой по коридору: «А ты чего стоишь тут? Люди стулья в актовЫй зал таскают, а он, как барин, поглядывает вокруг...» И Борька, неожиданно послушный ее воле, потащился за ней, хотя все время хотелось крикнуть: «Ты чего схватила-то меня? По какому праву? Отстань, черт тебя побори!» Дело было не в том, что не хотелось какие-то там стулья таскать, а просто всегда противно плясать под чью-то дудку, подчиняться чужой воле, – да и чего ради? Кто она, эта ненормальная, – староста группы? комсорг курса? профорг, наконец? Да никто, просто – так называемая активистка, каких терпеть он не мог в своей жизни: лезут везде, где надо и не надо, жить от их торможенья невозможно... Но что больше всего его умилило, задело и разозлило – это все были оттенки одного чувства, – так это то, что она вдруг, когда он уже таскал вместе со всеми стулья, остановилась напротив него, улыбнулась ободряюще и похвалила: «Молодец! Вот видишь, как здорово, оказывается, взяться за дело сообща: сейчас уже и закончим...» И, сдунув прядь на взопревшем лбу, счастливая, побежала дальше... Дело было, конечно, ерундовое – ну, подумаешь, стулья помог перетаскать в зал, ничего страшного, но что-то в душе у Борьки никак не отпустило: злился, да и все, на эту взбалмошную активистку. Так у него было всю жизнь: меньше всего он любил подчиняться чужой воле и больше всего именно ей и подчинялся. Парадокс какой-то. И ладно бы еще, если б Полина, скажем, была симпатичная из себя, возвышенная какая-нибудь, ну хоть просто нравилась ему – так нет, даже ведь не городская была, какая-то ширококостная, широкоскулая, грубоватая на вид, неотесанная, честно говоря, настолько, что, даже когда они поженились, когда жили уже в городе, а там и Женька родился, да ведь и работала она не какой-нибудь там крановщицей или маляром, а инженером на ВИЗе – Верх-Исетском металлургическом заводе, – все равно: неискоренимо проглядывала в ней полудеревенская порода, никакой внешней интеллигентности, разговор, слова всегда самые простые, мысли и желания вообще Бог знает какие – куда-то мчаться, ехать, идти, кому-то помогать, что-то немедленно делать, кого-то выручать, что-то доказывать, – с ума можно сойти от ее напористости и жажды, неутомимой жажды жить, действовать, настаивать на своем... Помнится, Борька как-то признался своей матери, Екатерине Алексеевне – она еще жива тогда была: «Слушай, мам, я тут познакомился с одной ненормальной на курсе... Вот уж не завидую тому, кто на ней женится когда-нибудь!..» – «А что такое, почему?» – улыбнулась мать, лукаво-изучающе взглянув на сына. «Да ведь просто затормошит его. Ей-богу, затормошит!» И они с матерью почему-то весело рассмеялись, хотя мать ведь о ней ничего не знала. А он-то – вот

дуралей, вот простофиля, ведь над кем смеялся? – над собой смеялся! Подумать только: не просто женился, а влюбился в нее; вот этим и взяла его – оторопью, хотя, конечно, как в воду глядел он тогда: затормошила она его вконец, дня не было, чтоб нервы его жили ровной, спокойной жизнью, все-то они натянуты как струна, все-то этой взбалмошной дуре чего-нибудь да надо. Другие, посмотришь, живут себе, работают, отдыхают, наслаждаются жизнью, во всяком случае хоть какой-то ритм в жизни есть, свое русло, свое размеренное течение, а тут... ну хоть головой об стенку!

Вот и сейчас – собралась, видите ли, к Зое... Куда? Зачем? Кто звал-то? Будут тебе рады там, что ли? Да муж Зойкин, Анатолий, терпеть Полину не может, за версту родной дом обходит, когда она у них «гостит», в подворотне своим дружкам жалуется: «Я-то? Я домой не ходок, не-а... Держите меня, ребята, вяжите мне руки, я за себя не отвечаю! Я ей... вяжите руки, ребята!» И приволакивают Анатолия дружки под вечер, а то и ночью – еле живого, «готового». В иных видах, как говорится, «дружба» у них с Полиной не получается...

Собственно, чем она тогда, в студенческие годы, доконала Борьку? Он ведь еще тогда смирился – не с ней, конечно, с собой, что не может жить по-другому: пусть она хоть какая, черт ее подери, такой уж она на свет уродилась, но он должен быть рядом с ней, тянуло его к Полине, как к магниту (есть такая заурядная побасенка: противоположности взаимно притягиваются; очень точная побасенка), и зло его брало, что это было чистой правдой, а все-таки поделаться с собой ничего не мог... По субботам или воскресеньям, когда они гуляли по Свердловску, Полина обязательно сначала забегала в суворовское училище, которое находилось рядом с институтом – угол в угол, как говорится; Борька оставался ждать Полину на широкой, царского вида лестнице, по обоим краям которой – слева и справа – на постаментах возвышались две подлинных боевых пушки, – и ждал долго, терпеливо, потому что Полина порой пропадала в здании училища по целому часу. Борька знал: пока Евгений, или Жека, как они его по-свойски звали, собирается в увольнение, Полина разговаривает с офицером-воспитателем Николаем Михайловичем Петровым, подвижным, небольшого роста майором с совершенно круглым, начисто обритым блестящим черепом и, надо же, тоже круглыми блестящими темными глазами. Обычно он жаловался на Жеку: с дисциплиной неважно, физзарядку не любит, с подъемом дело хромает, но в общем терпимо, хотя... И тут, естественно, начинались всевозможные варианты разговора, к которому Полина относилась всегда серьезно, переживала, нервничала, ахала и охала, только суть-то дела была в том, что Николай Михайлович, майор Петров, наговаривал на Жеку немного про запас, – вероятно, из педагогических соображений, – чтобы Полина лишний раз пропесочила его, поддержала в нем дух спартанского отношения к жизни, где главное – здоровье, дисциплина и развитый ум. Жека, сколько его знал Борис, учился все годы только на «отлично», был здоров как бык, занимался гимнастикой, одно время был даже чемпионом училища, а что касается дисциплины, то, во-первых, он был небольшого роста (верный признак, что если и будешь дерзить, то не очень: получишь по лбу либо от начальства, либо от своих же, только поздоровей тебя, сверстников-дылд), а во-вторых, характер у Жеки был если и не покладистый, то мягкий, душа нежная, – какое там может быть непослушание? Наконец Полина с Жекой выходили из парадных – тяжелых дубовых старинных – дверей суворовского училища, и теперь уже втроем они отправлялись бродить по городу. У Полины была слабость: кормить Жеку пирожными и поить газированной водой. Первым делом шли в какое-нибудь кафе, чаще всего на перекресток Ленина-Толмачева, напротив главпочтамта, и тут Полина принималась за свое священнодействие. Жека, красно- и тугощекий парнишка, с наголо постриженным затылком и востреньким, косо подрезанным чубчиком, который время от времени привычным движением головы он смахивал со лба в сторону, с пухлыми красными девичьими губами и небольшой родинкой над переносицей, как у какой-нибудь щедро раскрашенной индийской красавицы, этот Жека при всех своих «отличных успехах в учебе и в боевой подготовке», как выражался офицер-воспитатель

майор Петров, был еще сущим ребенком и с детской непосредственностью уплетал пирожное за пирожным, изрядно запивая их газированной водой, пока не раздувался как шар. Суворовская форма – черные брюки с лампасами, гимнастерка с красными погонами и золотыми буквами «Св. СВУ» – Свердловское суворовское военное училище – нисколько, казалось, не подчеркивали военную косточку, которая должна же быть в Жеке, как и в любом суворовце, – наоборот, эта форма в сочетании с его внешностью делали Жеку еще более ребенком (когда Борис увидел Жеку в первый раз, ему было двенадцать лет), каким-то лопухим, беззащитным, девственно наивным и в чем-то по-девичьи прелестным. Но разве могло все это понравиться Борьке? Конечно, нет. И в первый раз, когда они сидели в кафе, он с какой-то смесью брезгливости и неуважительного любопытства наблюдал за тем, как этот краснощекий «войка» уплетал одну за другой пироженки, словно ненасытный троглодит. И кто знает, может, Борька так бы и продолжал относиться к Жеке, если бы однажды перед ним не открылась одна небольшая тайна, после чего изменилось не только его отношение к мальчишке, но и произошло то последнее, что доконало Борьку и окончательно, бесповоротно привязало к Полине.

Отношения между Полиной и Жекой были такие, что Борька, естественно, принимал их за брата и сестру. Правда, вспоминая родной поселок, мать Варвару, отца, сестру Зойку, Полина почему-то никогда не упоминала имени Жеки.

– Слушай, а почему к нему никто не приедет? Недалеко же, – спросил однажды Борис.

– Кто не приедет? – не поняла Полина.

– Ну, мать, отец. Или хоть сестра, что ли...

– Нет у него никого.

– Как нет? – удивился Борис. – У тебя же есть мать, отец. Я серьезно, Полина...

– Да ты что, дурной, что ли? – Полина с искренним недоумением посмотрела на него. – У меня – есть, а у него – нет. В том и штука.

– Да как же это быть такое может?! – начал злиться Борис. – Не морочь мне голову...

– Ах, вон что-о... – догадливо протянула Полина. – Ты подумал, он мне брат? – Борька кивнул. – А он и не брат вовсе, нет...

– А кто?

– Кто? – Полина пожала плечами, задумалась. – Друг.

– Жека – твой друг? – вытаращил глаза Борис.

– Да. Друг. А что такого?

– Но послушай... как же так... я всегда думал, – стал бормотать Борис, – что ты сестра его, старшая сестра... Между вами такие отношения... и потом ты же ходишь в суворовское училище, встречаешься с его офицером-воспитателем, разговариваешь с ним о Жеке... ты меня разыгрываешь, а?

Оказалось: нет, не разыгрывала его Полина. Просто однажды в кафе она под села за столик к суворовцу: это был Жека, который занимался любимым делом – ел пирожное и пил лимонад. Толстощекий, смешной, он так понравился Полине, что она заговорила с ним. Жека ответил так, будто был знаком с Полиной сто лет: просто, легко, нисколько не кочевряжился, что вот он суворовец, красавец в форме «генерала», пуп земли... Такой он был непосредственный, наивный; даже когда сказал (в ответ на ее вопрос, кто у него родители), что у него никого нет, и то нисколько не стал спекулировать на этом: не вызывал ни на сочувствие, ни на жалость... И как вдруг задел этим сердце Полины, как болезненно сжалось оно у нее от сострадания!

– А можно с тобой познакомиться? – спросила она.

– Можно. Я суворовец второй роты третьего взвода Евгений Ковшов. Прозвище – Ковшик, Жека Ковшик. А вас как зовут?

– Полина, – ответила она. – А ты знаешь, нам повезло: я учусь совсем рядом с тобой, в политехническом институте.

– На каком курсе?

– На втором, – ответила она и удивилась: надо же, курсом поинтересовался.  
– Это хорошо, – сказал он и незаметно от всех – только Полины, кажется, не стесняясь – облизал пальцы, вымазанные пирожным.

– Почему? – не поняла она и улыбнулась: ей ведь это тоже показалось неплохим.

– Вам долго еще учиться. И мне долго. Времени дружить много...

Отец у Жеки, лейтенант запаса Григорий Ковшов, умер через четыре года после войны – доконало-таки ранение в позвоночник (Жека помнил отца смутно: родился он сразу после войны – по возвращении отца с фронта, который до войны служил в погранвойсках; и когда отец скончался в госпитале, Жеке шел всего пятый год). Мать умерла недавно, два года назад, и так как у Жеки никого из близких родственников не осталось, военком, друживший некогда с Григорием Ковшовым, выбил по разнарядке направление для Женьки в суворовское училище. Вступительные экзамены Жека сдал на «отлично» и в возрасте одиннадцати лет стал суворовцем, мечтая стать в будущем, как и его отец, пограничником.

Встречалась Полина с Жекой почти каждую субботу или воскресенье – позже к ним присоединился Борис, потом Полина познакомилась с майором Петровым, стала для Жеки, как говорится, названной сестрой, в зимние и летние каникулы возила к себе домой в поселок...

Вот это все и доконало Борьку. Влюбился он или просто-напросто приворожила его к себе Полина – не имело уже значения: с тех пор он стал как ручной, роптал только в душе, а в жизни – никуда от этого не денешься – во всем подчинился Полине...

...На вторые сутки поезд остановился на небольшой станции под Кременчугом. Никто, конечно, Полину не встречал – собралась-то ведь сама, без всякой предварительной договоренности, – а что не встречают, это для Полины даже лучше, спокойней. Да и – главное – хотелось, чтоб Анатолий дома оказался, а то с него станет, укатит куда-нибудь с глаз долой – мотаться по району, он ведь шофер, – и какой тогда с ним разговор? Какой прок от ее приезда?

Господи, как хорошо-то здесь у них, какая теплынь, какое ласковое мягкое солнце! Воздух над зеленеющим полем ржи струится, как живой, и, только лишь отстучал колесами последний вагон поезда, над полем этим, над всем поднебесным простором раскинулась тишина, но не мертвая, нет, а полная стрекотанья кузнечиков, многоголосья тысяч таракашек-букашек, полная пения птиц, живых звуков леса (за полем), реки (вдоль поля), ветряной, чудом сохранившейся мельницы (крылья ее, было слышно, изредка постанывали-поскрипывали на легком ветру), – это была тишина живой, естественно дышавшей, глубинно и вечно обновляющейся природы, и Полина, присмирившая, очарованная этой тишиной, какое-то время просто сидела посреди тропинки на небольшом своем чемодане, невольно ласково, тихо улыбаясь, слегка щурясь от разгоравшегося поутру лучистого солнца, в истоме радости и удовольствия бросив руки на подол сарафана, который взяла с собой так кстати, так прозорливо. И, главное, ни одного человека нигде, во всем этом широком просторе воздуха, солнца и воли – ни единой живой души. Как странно! И как, оказывается, приятно! Единственная женщина, – вероятно, дежурная по станции или стрелочница, Бог знает, как ее тут называют, – сразу же скрылась в своей каменной будке, так что и в самом деле было явственное, чудное ощущение – ты одна здесь на белом свете, одна-одинешенька, и это не грустно, не тяжело, не щемит у тебя на сердце, наоборот – душа твоя полна умиротворения, любви, и какой-то тихо-звонкий, настойчивый, как ручеек, журчит в тебе то ли голос, то ли сама совесть пульсирует в тебе: надо, надо жить хорошо, светло, чисто, надо любить всех, любить жизнь, приносить людям радость, пока не поздно, исправлять надо, направлять заблудших, запутавшихся, дурных, несчастных, – вон сколько простора кругом, счастья, воли – для кого же это? для чего? ведь не просто так? не для того, чтоб люди жили, мучая друг друга? чтоб не было меж ними ни счастья, ни согласия, ни любви? И хотя истоки всех этих чувств-мыслей были вовсе не в природе, а в ней самой, в Полине, ей казалось – что именно в природе; на самом деле природа лишь всколыхнула в ней

то, что всегда жило в душе, в глубинной ее сути, которая, впрочем, тоже была природна, была частью вечно живой, обновляющейся и возрождающейся природы.

Сняв босоножки, Полина подхватила чемодан и по тропинке, через зеленеющие поля, чуть не бегом помчалась к реке – дорогу к Зое она уже знала, ехала к ней не впервой. Речка Вяза, такая же неширокая и неглубокая, как любимая Чусовая, близ которой возрос родной ее уральский поселок, была, правда, гораздо чище Чусовой, даже и на середине Вязы виднелся – отсюда, с берега – донный песок, и то ли это играл отраженный свет, то ли так посверкивало песчаное дно Вязы, только вся река, казалось, от дна до поверхности, от берега до берега была охвачена золотисто-мягким свечением, хотелось сразу окунуться в эту ленивую, ласковую золотую ниву воды, почувствовать ее покойное течение и усладу. Полина так и сделала – отошла подальше от моста, соединявшего этот берег (широкие просторные поля) с другим (сосновый вперемешку с березовым лес), скинула сарафан и, в чем была – в трусиках и лифчике, не переодеваясь, – нырнула в Вязу. Будто льдом обожгло поначалу разогретое тело, но, уже вынырнув, Полина почувствовала полную свою слиянность с водой, нырнула еще раз, еще и, выбравшись на поверхность, пружинными ладными саженками поплыла не поперек, а несколько наискосок реки, ощущая, как течение Вязы, на вид незаметное, тихое, все-таки напористо сносит ее вниз и вниз; Полина радовалась и этому, радовалась всему, что было ее сегодняшней жизнью, – посреди реки она остановилась, легла на спину и так, с широко открытыми глазами, улыбаясь, раскинув руки, свободно отдалась течению... Сорок лет, Боже мой, ей уже сорок лет, неслыханно, непонятно, вся молодая жизнь позади, но как же хорошо ей сейчас, одной, посреди реки, под горячим солнцем, на ласковой воде, – отчего так? почему? А в глубине души и нет понимания, что твой век прошел, что молодость позади, – почему это? – наоборот, будто снова она маленькая девочка, Полина маленькая, Зойка маленькая, – Зойка, правда, на год старше, и вот они у себя на Чусовой, купаются, загорают... когда это? сейчас? сразу после войны? – непонятно, непонятно... Полина рассмеялась, быстрым движением развернулась на живот (э-э, нет, не обманешь, старушка, тело-то отяжелело, вон как громко и мощно шлепнули тела по воде!) и, смешно, по-собачьи, что ли, отфыркиваясь, снова поплыла по Вязе широкими саженками, стараясь из озорства держать голову подолгу в воде (Господи, нашлась профессиональная пловчиха: два гребка – вдох, два гребка – выдох), и тут снова рассмеялась, сама не зная отчего...

Накупавшись вдоволь, Полина выбралась на берег и, оглянувшись туда-сюда, никого не увидя, быстро разделась, отжала бельишко и прямо на голое тело накинула сарафан. Трусик и лифчик разложила на траве, чтоб ветерок и начавшее припекать солнце поскорей провялили-прожарили их. Откинувшись на крепко сцепленные за головой руки, Полина, с травинкой во рту, легла на сухую томно-горячую землю и сразу же от невольного блаженства и так редко выпадающей роскоши ничего не делать, просто лежать, наслаждаться теплым вольным воздухом, неистовым многоголосьем птиц, закрыла глаза; а закрыв, какую-то еще минуту, а то и меньше, будто плыла в блаженстве всех этих сладостных ощущений, а потом ее понесла за собой дурманящая волна сна, и она провалилась, ушла в него с головой. Губы ее чуть открылись, соломинка выпала изо рта, но не совсем, а так, что одним краем осталась лежать на вздрагивающей от дыхания нижней сочной полной губе, а другой край соломинки, вторящий дыханию Полины, как бы слегка завис над открытой ложбинкой полукружья ее грудей, и легкая, почти невесомая, поразительно яркой раскраски бабочка-махаон вдруг с лёту села на эту плавно покачивающуюся соломинку и, царственно сложив крылья в единый дугообразный лепесток, начала, как дитя на качелях, раскачиваться на соломинке, лишь только изредка вздрагивая крыльями, когда дыхание Полины вдруг сбивалось и бабочке приходилось, сохраняя равновесие, слегка расправлять свои царственные паруса. Полина безмятежно спала, бабочка, быть может, тоже подрёмывала на качелях-соломинке, а вокруг щебетал, пел, трещал, исходил музыкой звонкого открытого многоголосья природный мир, и само солнце, казалось,

решило хоть чуть-чуть пощадить эту мирную картину, притушило свои лучи, спрятавшись за набежавшей иссиня-молочной тучкой, и заоблачный этот солнечный свет не мчался, как прежде, стрелами в землю, а как бы рассеивался, растекался по всему поднебесному вольному простору: и река, и земля, и поля, и леса – все, казалось, покрылось теперь легкой матовостью нежного розового свечения, – в какой еще лучшей колыбели, чем эта, приходилось когда-нибудь спать Полине? Да и приходилось ли вообще?

Очнулась Полина не скоро; и уж не лежала соломинка на ее лице, не сидела-качалась на ней жаркая от своих цветов бабочка-махаон, да и Полина оказалась теперь не на спине, а на боку, сладко спрятав под голову, как маленькая девочка, соединенные вместе ладошки... Проснувшись, Полина некоторое время лежала не двигаясь, словно бы сама себе не веря, что эти чудные мгновения жизни случились с ней, а не с кем-то другим, – когда и жить-то приходится для себя? Все некогда, некогда... И когда наконец остаешься одна, когда время, кажется, принадлежит только тебе одной, трудно и узнать собственную душу, тело – ты ли это? – совсем другое существо, из другой жизни, другого времени... Полина приподнялась с земли и, взглянув на речку, невольно, как от резкой боли, зажмурила глаза, – Вяза полыхала ярким белесо-пронзительным светом отраженного солнца; Полина во второй раз сбросила с себя платье и, сонная, ослабевшая, одурманенная воздухом и волею, шагнула в эту пронзительность солнечного света, окунулась с головой в воду. И сразу легкая свежесть воды отрезвила ее – и Полина в который раз за сегодняшний день негромко, счастливо рассмеялась...

Потом, легкая, чуткая, с влажными волосами, с просветленными до синевы глазами, обычно всегда темными, темно-донными, Полина – с чемоданчиком в руке – быстро перешла по мосту на другую сторону Вязы и прохладной лесной тропинкой отправилась на центральную совхозную усадьбу...

Усадьба, где жила Зоя с семейством, открылась сразу за околышком березовой рощи, где-нибудь всего в километре от Вязы.

## Глава 4

### Зоя

Учиться в Свердловск вытасила Зойку Полина: энергии и напора хватало в Полине на десятерых, хотя она и была младше сестры. А уж учиться Зойке страсть не хотелось – не лежала душа к наукам. Но подчинилась Полине, как не подчинишься, с детства повелось между ними, с шестисемью лет: командовала Зоей младшая сестра. Разница между ними насчитывалась в год с небольшим, но, странное дело, Полина была и ростом повыше, и телом крупней. Но это бы еще куда ни шло, главное: Полина как вьюн всегда, и туда ей надо, и сюда, везде она первая, везде заводила, а Зоя росла болезненная на вид, тихая, хотя чуть что – мать ругала не Полинку, как следовало бы, а безответную Зойку. Полина, правда, всегда пыталась выручить Зойку, выгродить ее, а получалось еще хуже. «Сама за себя пусть отвечает, ишь – нашлась заступница!» – кричала в сердцах мать Варвара, и Зойке доставалось пуще прежнего. Пока не выросла, Зойка натерпелась от матери, – Варвара поедом ее ела, но уж когда Зойка стала кой-что понимать в жизни, подрасправила хоть и не очень сильные, но все же свои, собственные крылья – тут в ее отношениях с матерью нашла коса на камень, наступил перелом: старшая дочь платила Варваре не просто отчуждением, а какой-то явной неприязнью, почти презрением. Во взрослой жизни Полина с Зоей не раз схватывались из-за этого, и хоть Полина по-прежнему верховодила в сестринских отношениях, но по вопросу о матери Зоя оставалась внутренне неумолимой: не любила мать и прямо говорила об этом, как бы ни защищала и ни оправдывала ее Полина. Пожалуй, и учиться в Свердловск она поехала не только под напором младшей сестры, но и от стойкого желания: избавиться наконец от материнской опеки. И к наукам была неспособна, и памятью изрядной не отличалась, и упорства в учебе никогда не проявляла, но – собралась, поехала. Не так, конечно, высоко взлетела, как Полина, – та в политехническом институте училась, – но все же конкурс в железнодорожный техникум выдержала. С троечками, еле-еле, но проскочила, а там и учиться начала – тоже не ахти как, от семестра к семестру, бывало, хвосты тянулись, а все же курс за курсом одолевала. . . А когда защитила диплом (даже раньше Полины, которая продолжала еще учиться в институте) и получила направление на строительство железной дороги в Сибири, поехала туда с радостью, даже и в мыслях не было цепляться за Свердловск, а тем более проситься при распределении в родной поселок, – наоборот, одно желание и было – подальше от дома, от материнского глаза, от вечных ссор с матерью. . .

Догадывалась ли Зоя, знала ли, из какой глубины тянутся ее трудные отношения с матерью? Конечно, догадывалась. И от этого еще сильнее была ее обида на мать. . . Положим, мать любила когда-то какого-то Силантьева и что-то там у нее не получилось, – но при чем тут Зоя, разве она виновата в чем-то? Да и не в этом дело – не в правоте и не в вине чьей-то, дело в материнском чувстве Варвары: было оно к Зое или его не было совсем?

Вот и замуж Зоя вышла словно назло матери. Поначалу, пожалуй, у нее и мысли такой не было – столь быстро заводить семью, – но чего не сделаешь под горячую руку, особенно если против твоего избранника ополчилась мать Варвара?!

Как раз на майские праздники дело было, только-только Гагарин в космосе побывал, вся страна гудом гудела, повсюду ликование, песни, радость, смех; в доме у Варвары – тоже праздник: из Свердловска Полина с Борисом приехали (пока еще как жених и невеста), Полина с собой и Жеку захватила, ненаглядного своего суворовца, который давно, можно сказать, стал членом их семьи, ну а из Сибири неожиданно нагрянула Зоя, да не одна, а с не известным никому Анатолием.

– Анатолий едет к себе домой, на Украину, в отпуск, – торопливо говорила о нем Зоя. – А по дороге решил к нам заглянуть, посмотреть, как мы тут на Урале живем, чем дышим. . .

– В поезде, что ли, познакомились? – спросила Варвара – и спросила не просто, а с усмешкой, недобро спросила.

– Почему это? – вспыхнула Зоя. – Мы на одном участке работаем.

– Зоя, значит, командует, – добавил Анатолий, подмигнув Варваре и потирая руки в предвкушении застолья, – а я, значит, шоферу. Так сказать, линия единства руководящих кадров и рабочего класса.

«Жених, что ли, твой?» – прошептала Полина на ухо Зое; Зоя в ответ неопределенно пожала плечами.

После слов Анатолия Варвара повнимательней обсмотрела его – окинула серьезным и долгим взглядом с ног до головы – заметно было, не понравился он ей, что-то скоморошье в нем проскальзывало, но ничего не сказала, только слегка покачала головой: ну-ну, посмотрим, мол, какой ты еще рабочий класс, поглядим дальше...

И в самом деле, дальше получился любопытный конфуз (для кого только? для Зои? – ведь Анатолий, например, даже и не смутился нисколько, наоборот – весело рассмеялся и сказал: «А я всегда такой, на будущее запасливый! Жизнь, она, мать Варвара, всему научит...»). Прямо среди празднества – а дело было уже на второе мая – главное-то застолье вчера завершилось, под самый поздний час, – Варвара и «застукала» Анатолия в сарайке: он, как говорится, праздновал дополнительно – в гордом одиночестве.

– То-то я заметила, зятек, частенько ты желудком маешься... На сторону ходишь.

Варвара подошла к сараю неслышным шагом – только хозяйки так умеют, тихим сапом ходить в своем подворье – и слова свои произнесла вкрадчиво, елейно, а Анатолий – вот зараза – даже не вздрогнул, обернулся к Варваре с веселой такой, разудалой улыбкой:

– А что, мать, раз уж я у тебя зятек, может, мы на пару? Так сказать, первую вместе – закрепляющую?

– Закрепляющую – это-то я понимаю. А почему ты в сарайке прячешься – вот что объясни. Неужто нашего застолья мало?

– А я всегда такой, на будущее запасливый! Жизнь, она, мать Варвара, всему научит...

– К примеру, прячась, праздновать в одиночку?

– Очень верно подметила, мать.

– А не боишься – тебя к шутам гороховым из гостей прогоню?

– Нет, – помотал он головой, улыбаясь, – не боюсь.

– Что так?

– А я вообще ничего не боюсь. Пока живешь – бояться нечего, а помрешь – бояться поздно.

Варвара, как бы раздумывая над его словами, удивленно покачала головой. А когда они вернулись вдвоем к застолью (сидели прямо во дворе, вытащив с веранды стол-крепешок и установив его среди девственной зеленеющей травы), Варвара, усмехнувшись, объявила всем:

– Гость-то дорогой обиду на нас держит.

За столом смотрели на них, не понимая.

– Один в сарайке празднует. Гордый такой, что ли?

– А я всегда такой, мать. Вон Зоя не даст соврать.

– Анатолий, ты опять за свое, – покраснев за него, горестно проговорила Зоя. – Ведь обещал же...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.